Василий ЛИВАНОВ

Василий Суриков

Фаина Раневская

Борис Пастернак

Люди и куклы

SHOUT
SHARE
IT

- Василий Борисович Ливанов
  - Пролог
  - Гамлет
  - Борис Леонидович
  - Пастернак и Маяковский
  - «Бедный Боря!»
  - Эпилог
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30

Василий Борисович Ливанов
Невыдуманный Борис Пастернак

Обязуюсь хранить дом Ливановых
в границах сил моих в отсутствии
моем и в собственном изображении,
чудных, божественных друзей моих.

9 янв. 1955 г. Б. Пастернак

Пролог

Кажется, Честертон[1] лукаво рекомендовал быть очень внимательным при выборе родителей.

Мне сделать этот неповторимый и счастливый выбор помог, в частности, Борис Леонидович Пастернак. Евгения Ливанова вспоминала[2]:

«Это было в дни Первого съезда писателей. В один из таких дней вечером Алексей Толстой, Пастернак и Тихонов предложили нам с Борисом пойти поужинать в грузинский ресторан…

Толстой начал разговор: настоящая женщина, как хороший поэт, — редкость; если бы Наталья Васильевна Крандиевская не была с ним, то он бы не стал писателем; миссия жены художника — тяжелая миссия… Потом — Тихонов. Потом — Пастернак. Разве я могла устоять перед их доводами, перед их личностями?

Да ведь все равно я бы не могла уже жить без него, без Бориса Ливанова, хотя уже тогда чувствовала, как трудна будет эта жизнь».

Памятным свидетельством остается надпись Пастернака на его книжке «Поэмы»[3], сделанная для будущей моей мамы на следующий день после той встречи и разговоров:

> *«Совершенно не могу надписать Вам книги. Очень хорошо, что с Вами наверное так трудно жить, и Вам самой так трудно. После нашей безсонной ночи и наших вчерашних разговоров с Борисом, Ал. Ник. и Ал. Тихоновым[4].*
>
> *на съезде 30.VIII.34 Б.П.»*[5]

Пройдет много лет. За эти годы Пастернак тесно сдружится с моими родителями, станет «своим» в доме Ливановых.

«В творческие пары и туманы дома Ливановых, Жене и Боре, таким близким!» — подпишет поэт одну из подаренных им фотографий.

6 января — именины моей мамы Евгении, Жени. Этот день всегда отмечался в нашем доме: за нарядным праздничным столом сходились близкие, друзья.

Однажды Борис Леонидович принес и прочитал написанные им к этому дню стихи:

Евгении Казимировне
Ливановой, именинице

Еще я не знаю,
Что я сочиню.
Прости мне, родная,
Мою болтовню.
Будь счастлива, Женечка!
Когда твой Борис
Под мухой маленечко,
Прости, не сердись.
Ведь ты — самый крепкий
Его перепой.
Он стал бы, как щепка,
Но полон тобой.
Кто без недостатка,
Безгрешен и чист?
Борис твой — загадка,
Мятежник, артист.
И после банкета
И тяжкого сна
Ты — небо рассвета,
Покой, тишина.
Как самый завзятый
Простой семьянин
Я чествую дату
Твоих именин.
Она мне внушила
«Звезду Рождества»
И всех нас скрепила
Печатью родства.

Б. Пастернак. 6 января 1951 г.

Гамлет

Да вот же он! Туда, туда взгляните:
Отец мой, совершенно как живой!

В. Шекспир. Гамлет Перевод Б. Пастернака

Летом 1952 года Московский Художественный театр гастролирует в Ленинграде. Ольга Фрейденберг[6] делится с Пастернаком своими впечатлениями от мхатовских спектаклей. Пастернак ей отвечает письмом от 16 июня:

«Как молодо и с какой отчетливостью ты рассуждаешь о перемене художественных форм и их назначении, о театре, о кино, как по-философски талантливо и с какой безошибочностью судишь о строении разных творческих явлений и их подобии! если ты даже выделила Ливанова, потому что знаешь, что это мой лучший друг, то и в таком случае меня радует, что наше отношение к нему сходится. Его нельзя назвать неудачником, нельзя сказать, что он не понят, недооценен, но широта его мира, его разносторонность, образованность и то, что он не замкнулся в рамки характерного актера, позволяет его собратьям коситься на него под многими предлогами…»

Весной 1954 года Пастернак, интересуясь постановкой «Гамлета» в своем переводе в Александринке, напоминает в письме к О. Фрейденберг: «В Ленинграде часто бывает Ливанов, большой мой друг, который должен был играть Гамлета во МХАТе пятнадцать лет тому назад» (12.4.54).

В 1939 году В. И. Немирович-Данченко задумал и стал готовить во МХАТе постановку «Гамлета».

С какой ответственностью и тщательностью режиссерская группа (Немирович-Данченко и В. Г. Сахновский) относилась к будущей постановке, говорит хотя бы то, что при распределении ролей для исполнения Офелии и Лаэрта труппу Художественного театра пополнили талантливые молодые актеры из других театров: Ирина Гошева из Ленинградского театра комедии от Николая Акимова и Владимир Белокуров из Московского театра имени В. Маяковского от Николая Охлопкова. Кстати, пригласить Белокурова посоветовал мой отец, которому предназначалась роль Гамлета.

Возникли проблемы с переводом. Выбранный поначалу перевод А. Радловой позже стал не устраивать Немировича-Данченко. Интересный при чтении текст перевода проигрывал в сценическом звучании: становился легковесным. Попытка соединения двух переводов — академически громоздкого Лозинского и нового, Радловой, — не дала желаемого результата. Немирович-Данченко стремился к современному, разговорно-острому и поэтическому звучанию текста, но не за счет упрощения философской значимости.

И тут появился перевод Бориса Пастернака. Это было именно то, к чему стремился театр. Ливанов немедленно представил режиссерам перевод и переводчика.

Театр принял пастернаковскую работу почти безоговорочно. Немирович-Данченко написал А. Радловой в ноябре 1939 года:

«Перевод этот (Пастернака. — *В. Л.)* исключительный по поэтическим качествам, это, несомненно, событие в литературе. И Художественный театр, работающий свои спектакли на многие годы, не мог пройти мимо такого выдающегося перевода “Гамлета”… Ваш перевод я продолжаю считать хорошим, но раз появился перевод исключительный, МХАТ должен принять его».

Доверяя художественному вкусу Бориса Ливанова, его актерскому «чутью» и видя в нем творческого единомышленника, увлеченного замыслом постановки, Немирович-Данченко предложил актеру, исполнителю заглавной роли, вместе с поэтом проверить сценическое звучание перевода, добиваясь полной органичности произносимого текста. Но никакого совместного творчества не произошло бы, если бы поэт Борис Пастернак сам не относился к актеру Борису Ливанову с высокой степенью доверия и восторженного приятия.

Евгения Ливанова так вспоминала о присутствии поэта на спектакле «Горе от ума», в котором Ливанов играл роль Чацкого:

«На спектакле я была с Пастернаком. Сидели в восьмом ряду рядом с креслом Немировича-Данченко, он отдыхал в это время в Барвихе. Ему туда послали телеграмму о небывалом успехе и что занавес давали 24 раза.

Первые слова Ливанова — Чацкого: “Чуть свет — уж на ногах! и я у ваших ног!” — и Пастернак залился слезами. Он их даже не замечал. И это продолжалось весь спектакль, как только выходил Чацкий — Ливанов и начинал говорить.

— Я впервые понял, почему это написано в стихах, — сказал Борис Леонидович.

После конца спектакля он был возбужден, взволнован, лицо было заплакано».

Свои впечатления Пастернак выразил в надписи на вырванной из книги странице со своим портретом — репродукцией работы художника Леонида Пастернака — отца поэта:

> «Великому и стихийному артисту и, по счастью, другу моему Борису Ливанову, дань любви и восхищения и общей нашей будущности, раскрывающейся мне в его игре.
>
> *Б.П. 1938 г.»*

Оба Бориса азартно взялись за совместный труд. Это время можно считать началом их творческого и человеческого дружеского сближения. Они занимались не только поисками наиболее выразительного звучания слова. Борис Ливанов — талантливый художник — рисовал отдельные мизансцены будущего спектакля, которые отражали их общее понимание того или иного сценического решения. Пастернак участвовал советами и в поисках внешности героя: Ливанов всегда предварял рисунками свою актерскую работу над образом, находя внешний облик персонажа — грим, костюм.

18 июня 1941 года Пастернак надписывает Ливанову первое издание шекспировской трагедии в своем переводе:

> «Человеку о котором это написано:
> Борису
> Ливанову —
> Гамлету.
>
> *Б. Пастернак. 18. VI. 41. Переделкино».*

Через четыре дня разразилась война.

> «5. IX.41
> Золото мое Боричка!
> Я дико занят. На мне две пустые квартиры, дача, чужие неразочтенные домработницы, самые разноречивые хозяйственные заботы. Все мои кто где, на Каме, в Ташкенте, под Челябинском. Изредка у меня ночные дежурства в Лаврушинском[7], я прохожу ежедневное военное обучение. Каждый день с утра в Москве, где высуня язык бегаю по разным безуспешностям только затем, чтобы, вернувшись в Переделкино, полакать чего-ниб. впопыхах (воображаю,

что б это было, если бы на это взглянуть при свете дня). На рассвете (в моем распоряжении только 1½–2 часа утром до поезда) строчу что-ниб. (меня опять свели к переводам, с латышек, с грузинск.) на гривенник, на пятиалтынный, которые потом не платят. Но я не жалуюсь, я люблю быстроту. Судьба циркового трансформатора прельщает меня. Беда не в этом. В чем она, я расскажу тебе как-ниб. один на один. На днях я взбунтовался, и тут мы с тобой сразу подходим к теме. Вчера я прямо с боевой стрельбы отправился к Храпченко[8], и тут я узнал вещи ошеломляющие. По его словам, в Новосибирске будут продолжать играть Гамлета в новом сезоне, и для его подготовки где бы то ни было никаких препятствий не встречается. Мало того: он упрекнул меня, зачем я бросил работу по “Ромео”, а на мои слова, — кому-де нужен сейчас Шекспир, ответил что-то вроде “глупости”, но повоспитаннее, я точно не помню. Как Вам это нравится и сделали ли Вы из этого практический вывод? Крепко тебя целую и бегу на поезд, е… его мать, хотя так выражаться не следует, потому что дальше поклоны Сахновским[9], +Вит. Як.[10] и Ольге Серг.[11]

Если ты задумаешь осчастливить меня открыткой, направляй ее по адр.: Москва, 17, Лаврушинский пер., д. 17/19, кв. 72, Б. Л. Пастернаку. Искренне тебе преданный

Б.П.»

Несмотря на недоуменный оптимизм Пастернака в отношении дальнейшей работы над «Гамлетом», в сотворчестве обоих Борисов наступает перерыв, вызванный эвакуацией МХАТа из Москвы и отъездом Пастернака к своей семье в Чистополь на р. Каму.

В 1942 году в эвакуации директором МХАТа был назначен И. М. Москвин. Немирович-Данченко оказался вдали от театра, на Кавказе. Поначалу театр направился в Саратов, потом переехал в Свердловск. «Гамлет» не репетировался, несмотря на то что один из режиссеров спектакля, В. Г. Сахновский, был с труппой. Сказывалось отсутствие Немировича-Данченко. Ливанов и Пастернак с семьями возвращаются в Москву в 1943 году.

МХАТ в полном составе постепенно возобновляет репетиции «Гамлета». Поэт и актер снова часто встречаются для продолжения совместной работы.

Ходил упорный слух, что Сталин с опаской относится к теме

гамлетизма. В данном случае выход спектакля гарантировался бесспорным авторитетом Немировича-Данченко. Смерть его наносит готовящемуся спектаклю первый удар.

И. Москвин, Н. Хмелев, ставший художественным руководителем театра, и назначенный директором В. Месхетеди публикуют в центральной прессе статьи о готовящемся спектакле, пытаясь защититься хотя бы памятью о Немировиче-Данченко.

Привожу фрагмент одной из таких статей:

«БЛИЖАЙШИЕ ПРЕМЬЕРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА

…Более двух лет Владимир Иванович с присущим ему увлечением работал над “Гамлетом” Шекспира. Он создал режиссерский штаб во главе с В. Сахновским, глубоко и проникновенно проработал все линии этой постановки. С режиссурой и участниками спектакля неоднократно обсуждался план постановочной работы, была определена характеристика образов действующих лиц. Перед актерами, занятыми в этой работе, наш учитель ставил задачу — добиться большой трагической силы, сочетаемой с простотой живой психологии и прекрасной театральностью. Он стремился к тому, чтобы в спектакле чувствовалась суровая атмосфера действия и был вскрыт глубочайший философский, человеческий смысл трагедии Гамлета. Владимир Иванович не ограничивался только разработкой плана и беседами с участвующими в спектакле артистами. Он провел с ними много репетиций, приглашая их к себе даже на дом в те дни, когда чувствовал себя плохо. Особенно много внимания он уделил работе с Б. Ливановым — исполнителем роли Гамлета. Эта работа не прекращалась до самых последних дней его жизни. Он принял и утвердил спектакль, эскизы костюмов, написанные художником В. Дмитриевым. Без всякого преувеличения можно утверждать, что замысел этой постановки принадлежит к крупнейшим и интереснейшим работам великого мастера русской сцены. И сейчас задача нашего коллектива, наших мастерских, всего театра — воплотить в сценическое создание замыслы нашего учителя и сделать спектакль “Гамлет” достойным его светлой памяти».[12]

Понимая, что театр остался без своего главного заступника, В. Г. Сахновский торопится довести спектакль до премьеры.

О напряженном труде обоих Борисов свидетельствует письмо Пастернака:

«8. III.44

Дорогой Борис!

Отраженно по себе догадываюсь, что позавчера были твои именины, с чем тебя и поздравляю.

В субботу я был не выспавшись, и ради Бога не думай, что я во все дни недели бываю такой тупой и злой.

Два дня я тебе звоню, чтобы сообщить новые возможности относительно наших проклятых шекспировских строчек:

Все в жизни рухнуло

Святыни рухнули, и вот я стал
Защитником поруганных начал.

Спасителем
Поборником
Готов потеть и дальше. Привет всей твоей семье.
Евгении Казимировне целую ручку.

Твой Б. П.»

В нашем семейном архиве сохранилась репетиционная тетрадь моего отца, в которой страницы с наклеенным печатным текстом перевода чередовались с пустыми, предназначенными для актерских записей и помет. Некоторые из них заполнены рукой Ливанова, другие — рукой Пастернака. Очевидно, что актер давал поэту эту тетрадь с намеченными им во время репетиций исправлениями в тексте, и Пастернак вписывал туда свою окончательную редакцию.

Помню, по всему нашему дому в то время обнаруживались случайные листы бумаги, на которых, «озверев от помарок», Борис Леонидович записывал новые и новые варианты гамлетовских реплик и монологов.

Многие из рукописных правок в актерских тетрадях Ливанова вошли в новое издание пастернаковского перевода трагедий Шекспира и закреплены в нем как окончательные.

«Дорогому Борису Ливанову

с которым вместе мы варили это блюдо.

Б. Пастернак, Москва. 8 октября 1947 г.»

Так оценит Борис Пастернак их совместное творчество, надписывая новое издание перевода — в Детгизе, в 1947 году.

Из воспоминаний Евгении Ливановой:

«К Новому, 1945 году группа английских актеров во главе с “английским Качаловым” — Джоном Гилгудом направила своим советским коллегам подарок — пластинки с записью шекспировских монологов. Два монолога из “Гамлета” читал Гилгуд, причем свое исполнение он посвятил — так это и звучало на пластинке — “моему другу Борису Ливанову, занятому сейчас работой над Гамлетом”».

В ответ Ливанов и Пастернак послали Гилгуду письмо.

«Москва, 1945 год
Джону Гилгуду
Королевский театр,
Геймаркет, Лондон
Дорогой Гилгуд,

в дни, когда все человечество считает секунды, думая об истинной, достойной человека жизни, наконец завоеванной, мы получили от Вас подарок. Вы прислали нам свое дыханье. Вы произнесли слова, сказанные лучшим из нас Гамлетом: “Что значит человек…” Спасибо Вам.

Мы, советские художники, ощущаем радость по поводу того, что в наше время мы в такой доступности, о которой могли бы мечтать наш Пушкин и Ваш Байрон, услышали голос того, кто нам душевно так близок, а пространственно так далек. Я и мой друг Пастернак великолепно способны оценить, кем Вы вошли в Гамлета и кем из него вышли и что к нему прибавили.

Вы — прекрасный артист, и мы счастливы, что судьба посвятила нас в стихию артистизма, неразрывно породняющую нас с Вами, — залог нашей более широкой и длительной творческой дружбы.

С лучшими пожеланиями, искренне Ваши

Борис Ливанов, Борис Пастернак».

В этом же письме Ливанов сделал приписку, прося Гилгуда прислать свой портрет в роли Гамлета. Просьба вскоре была исполнена.

«Борису Ливанову — артисту, союзнику и коллеге в знак товарищества — приветствие», — значилось на подписи к подарку.

А мхатовскому спектаклю был нанесен второй удар судьбы — в разгар репетиций скончался В. Г. Сахновский. Постановка оказалась режиссерски окончательно обезглавленной. Но работа практически была уже завершена. Спектакль был на выпуске. О сталинском запрете «Гамлета» во МХАТе Борис Ливанов узнал на генеральной репетиции, стоя на сцене в гриме и костюме принца Датского.

В ливановском архиве имеется черновик письма, записанного О. Бокшанской под диктовку Ливанова и предназначавшегося кому-то из бдительных начальников советского искусства.

«Многоуважаемый Георгий Федорович![13] Опасаюсь, что Ваша занятость не позволит Вам лично выслушать мои соображения по этому вопросу. Поэтому позволю себе кратко об этом написать.

Переношусь мысленно на два года назад, 23 февраля 1945 года. Я в полном костюме и гриме репетирую “Гамлета” во МХАТе. Все было готово к постановке. Немалые затраты людских сил — художников, декораторов и других — этому предшествовали. Немало сил затратил и я, и мои коллеги по этому спектаклю. Большие материальные, денежные средства ушли на подготовку этого спектакля. Наша печать предвещала его. О нем писали за границей. Известнейший английский исполнитель роли Гамлета — Джон Гилгуд прислал мне свой снимок в этой роли в надежде “получить в обмен” мой портрет в роли Гамлета.

“Гамлет” не был поставлен потому, что через несколько дней после этого скончался наш руководитель — Сахновский.

Очень больно сознавать, что огромный труд и большие материальные затраты могут пропасть даром. На днях я спросил у художника — “целы ли декорации?” — “Пока целы”, — был ответ. Пока живы главные исполнители. Имеются стенограммы, записи всех режиссерских указаний Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Прошу Вас подумать, не следует ли возобновить работу по этой постановке. Времени должно уйти немного — месяца три-четыре. Новых материальных затрат почти никаких или, во всяком случае, очень мало».

Думаю, что письмо Ливанова, черновик которого сохранился, было театром отправлено. Судя по всему, у «многоуважаемого» не нашлось времени не только на разговор с артистом, но и на ответ по его письму. Сталинские распоряжения не обсуждались, и

отчаянная попытка Бориса Ливанова, безусловно, была расценена как дерзость.

«Чего-чего
не делали мы вместе с Борисом,
И хохотали, и плакали.
И никогда не помогало!!» —

еще раньше угадал Пастернак, надписывая свой перевод «Ромео и Джульетты», и добавил:

«На память о нашем совместном посещении сей планеты.

24. XI.44. Москва».

О том, что поэт и актер чувствовали, когда спектакль был запрещен, свидетельствует надпись Пастернака Ливанову на тоненькой книжечке стихов «Земной простор», изданной в это время:

«Боричка! В несчастной части твоей “многосложной” жизни мы — братья. С братским приветом с этого участка твой, крепко любящий тебя

Борис».

А пытка Шекспиром продолжалась.

Еще до осуждения «культа личности» «лучшего друга писателей, артистов» и вообще всех на свете Ливанов задумал сыграть и поставить «Короля Лира», конечно же в переводе Пастернака. Бориса Леонидовича эта идея привлекала. Но, занятый работой над романом «Доктор Живаго», на который автор возлагал большие надежды, Пастернак только время от времени давал своему другу практические советы, развивающие замысел, и помогал делать необходимые сокращения в тексте пьесы.

Несмотря на разочарование, пережитое в истории со спектаклем, Борис Леонидович вместе с Ливановым поверил, что на этот раз их ждет удача. Он писал отцу в апреле 1953 года:

«…Боря, Лир с середины, где со сцены уходит шут и его начинает заменять прикидывающийся сумасшедшим Эдгар, — очень по тебе. Его бушевание и безумие отсюда — это вылитый ты за столом, твое гениально-

величественное красноречие с грозным, подцапывающимся под умничающих лицемеров простодушием. Тебе будет очень легко играть его. И в этой достоевщине есть одна вечная толстовская нота. Я не могу найти того, что писал об этой трагедии в предисловии ко всем, но вот эта мысль. В “Лире” о добре, присяге, интересах государства и верности родине говорят одни мерзавцы и уголовные преступники. Положительные герои этой трагедии — сумасшедший самодур и до святости правдолюбивая дурочка.

“Здравый смысл” представлен экземплярами из зверинца, и только эти оба — люди. Эта мысль чрезвычайно анархическая. Ты в Лире будешь производить бурю в зрительном зале и срывать в ходе действия овации.

Начни с Лира, а продолжи Гамлетом (Пастернаку хотелось, чтобы Ливанов все же осуществил “Гамлета”, но уже как постановщик. — В. Л.)

Но письмо приняло деловой характер. Крепко целую Вас обоих, привет и поцелуи детям.

Ваш Б.»

Все повторялось. Снова английский актер, теперь не Джон Гилгуд, а Пол Скофилд, будучи на гастролях в Москве, где он с успехом выступил в роли Лира, преподнес отцу свой портрет с надписью:

«Борису Ливанову с лучшими пожеланиями
успеха Вашему “Королю Лиру”».

Были распределены роли. Делать декорации и костюмы Ливанов пригласил замечательного чешского художника Иржи Трнку, своего друга.

Казалось, теперь на пути осуществления шекспировского спектакля нет и не может быть никаких препятствий. Борис Ливанов медленно, но верно разворачивал тяжело груженный конъюнктурными задачами театр к давно позабытому Шекспиру. И — разразился безобразный скандал вокруг «Доктора Живаго». Становилось ясно, что вынесение на сцену «правительственного» театра работы Бориса Пастернака, переводчика «Лира», — нового «врага народа» теперь уже эпохи Хрущева — вряд ли возможно. Начались какие-то «сложности» при заключении договорных отношений с И. Трнкой. Раздосадованный «заячьими петлями» советских министерских чиновников от культуры, художник

отказался от сотрудничества во МХАТе, сославшись на занятость.

Отец обратился к Андрею Гончарову, своему давнему товарищу, известному иллюстратору, в частности, шекспировских трагедий. Гончаров дал свое согласие. Но это, как и следовало ожидать, ничего не поправило.

Пастернака не стало. Мои родители были на его похоронах. [14]

На следующий же день после похорон Бориса Леонидовича министр культуры всего Советского Союза Екатерина Фурцева пригласила Бориса Николаевича в свой правительственный кабинет для «неотложной личной беседы».

Не успел Ливанов переступить порог, как Фурцева обрушила на него державный гнев:

— Как вы могли? Вы — народный артист СССР?! Это же политическая демонстрация…

— Мы с вами по-разному понимаем и жизнь, и смерть, — остановил ее Ливанов.

Задуманного Фурцевой выговора не получилось.

Этого короткого «обмена мнениями» Фурцева Ливанову не забудет. «Неуправляемый» — такой опасный с точки зрения партаппарата ярлык привесили Ливанову.

Вскоре всевластная дама найдет способ известить театр о том, что «Никита Сергеевич Хрущев считает постановку Шекспира в Художественном театре несвоевременной»[15]. Это значило, что Министерство культуры не истратит на спектакль ни гроша. «Меня с этой должности (министра культуры. — *В. Л.)* вынесут только вперед ногами», — как-то сказала Фурцева Ливанову. Так и произошло. Фурцева, сыграв значительную роль в падении Хрущева, пользовалась непременной поддержкой нового «Ильича» — Леонида Брежнева.

Судьба «Гамлета» во МХАТе постигла и «Лира». Историкам русского театра еще предстоит дать оценку министерским заслугам Е. А. Фурцевой в области культуры, главная из которых — уничтожение искусства Художественного театра, того неповторимого явления русской культуры, которое благодарной любовью отзывалось в умах и душах трех поколений зрителей.

Великий МХАТ умер. Труп его расчленен пополам по орнитологическому признаку: одна половина обозначена птицей чайкой, другая — буревестником.

Интересно, чьи куриные мозги впервые посетила такая птичья идея?

«Неуправляемый» Борис Ливанов, любимый ученик и последователь К. Станиславского и В. Немировича-Данченко, погиб под развалинами театра, живым символом которого

являлся почти полвека.

Борис Леонидович

О, куда мне бежать от шагов
моего божества!

Б. Пастернак. Детство

Мне шел двенадцатый год, когда родители в очередной раз взяли меня с собой в обычную воскресную поездку на пастернаковскую дачу.

После веселого обеденного застолья Борис Леонидович объявил родителям, что будет читать им свою новую прозу. Несмотря на то что надвигался осенний вечер и заметно похолодало, чтение происходило в саду, в каком-то садовом строении, кажется в беседке. И автор, и слушатели сидели в пальто. Короткие и резкие порывы ветра ворошили стопку рукописи. Пастернак то и дело прихлопывал листы ладонью, чтобы они не разлетелись по саду.

Борис Леонидович читал о каких-то людях, которые куда-то ехали в поезде, что-то вспоминали, о чем-то разговаривали. Тогда я, естественно, понятия не имел о том, что слушаю главу из впоследствии знаменитого романа «Доктор Живаго», которому суждено было принести автору столько самых противоположных, потрясших его переживаний. Люди, о которых довольно монотонно читал Пастернак, и их разговоры были мне, мальчишке, совершенно неинтересны. Посматривая на лица своих родителей, я в душе удивлялся их сосредоточенному вниманию. На дачу я приехал только в куртке, которая плохо защищала от холодного ветра, сидел весь съежившись, изнывая от скуки. В конце концов мое жалкое состояние было замечено, и меня в приказном порядке отправили в дом.

Роман «Доктор Живаго» я впервые прочел много позже, уже взрослым человеком, в 1958 году в миланском издании Г. Фельтринелли, книгу передали Ливановым из дома Пастернаков.

Но прежде чем поделиться своими впечатлениями о романе, необходимо остановиться на личности самого Бориса Пастернака.

Талант понимался Пастернаком не как божий дар, а как существующее вне божьих помыслов особое, исключительное качество личности, уравнивающее человека с Богом, дающее талантливому особые, исключительные нравственные права среди людей — толпы.

В таком понимании Христос — сын человеческий — являлся

чем-то вроде старшего по талантливости и завидного по жертвенной судьбе и славе.

Делясь замыслом романа «Доктор Живаго» с О. Фрейденберг, Пастернак писал в 1946 году: «Атмосфера вещи — мое христианство».

Что это значит — «мое»?

Пастернаковское христианство сродни лермонтовскому: «Я или Бог, или — никто».

И действительно, «мое христианство» Пастернак попытался воплотить в образе Юрия Живаго. Понятно, что краеугольным камнем такой веры является непомерная гордыня. И герой пастернаковского романа не что иное, как последовательное утверждение авторского эгоизма.

В советской критике разглядели самоотождествление поэта с Богом. Например, статья О. Хлебникова, посвященная 100-летию Пастернака [16], заканчивается так:

«И еще об одном хочется сказать в заключение, читая стихи Пастернака: не стоит бояться воздать ему “не по чину”».

Я в гроб сойду и в третий день восстану.
И, как сгоняют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи караванов,
Столетья поплывут из темноты.

Конечно же, советский критик, как и положено образованному безбожнику, это самоотождествление поэта с Богом преподносит как достоинство.

Совсем другое стихотворение Пастернака «В больнице». Это стихотворение написано не позднее конца 52-го года, скорее всего, сочинялось уже во время инфаркта, в Боткинской больнице, куда поэт попал в октябре. Но «В больнице» не вошло в «Стихи Живаго».

…О Боже, волнения слезы
Мешают мне видеть тебя.
Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
Бесценным твоим сознавать.
Кончаясь в больничной постели,
Я чувствую рук твоих жар.
Ты держишь меня, как изделье,
И прячешь, как перстень, в футляр.

Родившееся на грани жизни и смерти, заплаканное искренними слезами, подлинно христианское, оно могло впоследствии показаться поэту излишне традиционным, но — и это главное — прямо противоречило «атмосфере моего христианства», созданной Пастернаком в романе. Через несколько лет, включенное в последний сборник «Когда разгуляется», это стихотворение окрасило своим настроением лучшие стихи сборника, говорящие о том, что поэт все-таки потянулся к вере без всякой позы, заключавшейся раньше в горделивых словах «мое христианство». И та простота, к которой Пастернак стремился в своем творчестве всю свою жизнь, отрекаясь от своих ранних стихов, была бы недостижима без истинной веры.

Я затронул эту тему, поскольку, не касаясь ее, невозможно говорить о личности Пастернака.

Пастернак начался для меня осенью 1943 года.

Помню, как я пытаюсь разглядеть его в полутемном углу квартирного коридора, где он возится в открытом старом шкафу со скрипящими дверцами. Кажется, он пристраивает туда свой блекло-желтый выцветший плащ и сует на полку немыслимо заношенную шляпу с отвислыми полями.[17]

— А вы не знаете, скоро ли придут ваши родители?

Он стал часто появляться в нашем доме, иногда в отсутствие родителей.

— Я их дождусь, — говорил.

И терпеливо ждал, перебирая книги в отцовской библиотеке. Иногда я заставал его лежащим на коротком диване, даже не снявшим куртку и обувь. Он спал, повернувшись лицом к диванной спинке, подложив под скулу сложенные ладони, подогнув колени так, чтобы ботинки свисали над краем дивана. В лице его не было покоя, казалось, он не спит — притворяется. Пока он лежал в комнате, я, восьмилетний мальчик, ходил рассматривать его плащ и шляпу, примерял ее. Почему-то из-за этого плаща и шляпы он мне казался необычайно загадочным. Особенно завораживала его необычная фамилия — Пастернак. В моем представлении фамилия эта, больше похожая на имя пришельца из какой-нибудь неизвестной мне сказочной страны, была ему к лицу, как подошел бы бархатный берет с пушистым пером. А он вместо такого берета и длинного романтического плаща носил старую шляпу-гриб и выцветший «пыльник». И это несоответствие человеческого лица по имени Пастернак и как бы чужой ему одежды заставляло меня думать о какой-то скрываемой им печальной тайне. В общем, о каком-то «заколдованном принце». Странно, но я никогда не задумывался и не спрашивал о его возрасте. У него не было возраста, как не

бывает его у дождя или у ветра.

То, что он — поэт, меня тогда совершенно не привлекало. Скорее наоборот. В моем детском представлении известные поэты — Пушкин, Лермонтов — это имена, которыми обозначаются стихи, это портреты в книжках, а вовсе не живые, реальные люди. В нашем доме — тогда говорили: «В нашем дворе» — жил поэт Корней Чуковский. Родители были с ним знакомы, при встречах долго разговаривали. Я же абсолютно не верил, что этот неряшливый громогласный старик может иметь какое-то отношение к «Мухе-цокотухе». Считал это каким-то невыясненным недоразумением. Такое мое отношение к живым поэтам распространялось еще на одного детского поэта «из нашего двора» — Сергея Михалкова, автора популярного «Дяди Степы». Но хорошо знакомый мне дядя Степа был моряком и вовсе не заикался. Михалкова я тоже держал в самозванцах. Стихи Пастернака мне тогда никто читать не предлагал, да я и не стремился.

Все это пришло позже.

Помню мою страшную обиду на маму, объяснившую, что слово «пастернак» — название одного из сортов лука. Я счел это поношением Бориса Леонидовича, почти предательством. К тому времени Пастернака я уже полюбил. Во-первых, мне казалось, что я проник в секрет его сказочной «заколдованности». Благодаря этой молчаливой, воображаемой мной причастности к его тайне Борис Леонидович стал мне дорог. Во-вторых, из-за отсутствия возраста Пастернак сразу же выпал из категории «взрослых». Он никогда не унижал меня — мальчика — наподобие других взрослых вопросами, ответы на которые — я это прекрасно видел — были им безразличны:

— Сколько тебе лет?

Или:

— Ты уже в школе учишься?

Пастернак был первым человеком, который обращался ко мне на «вы». Как я ему за это был благодарен!

И в-третьих… Борис Леонидович частенько капризничал, восхитительно и явно капризничал по мелочам: это могло касаться назначения сроков следующей встречи, выбора места за столом и прочее. И мои родители, вместо того чтобы немедленно строго осудить его за это или хотя бы пристыдить — со мной всегда поступали так, — пускались в уговоры, оборачивали все в шутку, и в конце концов все складывалось в его пользу. Это рождало у меня ребяческую надежду, что будущее моих собственных капризов не так безнадежно.

Другое дело — Зинаида Николаевна, жена Пастернака. В

отношении к ней на людях Борис Леонидович вел себя не как взрослый человек, зрелый муж, а скорее как избалованный мальчик. Она часто одергивала его капризы быстрой фразочкой, произнесенной скороговоркой и не всегда понятной, — Зинаида Николаевна слегка шепелявила.

И его протяжное в ответ: «Ну Зи-и-ина!» — неизменно звучало как «Ну ма-а-ама!».

Сейчас я думаю, что Зинаида Николаевна была в его жизни, кроме матери, единственной женщиной, глубоко и верно его любившей, и это сходство в любви к нему матери и Зины прочно удерживало его в доме, в кругу семьи, где главенствовала, конечно, Зинаида Николаевна. Здесь ему все, несмотря на одергивания, позволялось и, конечно, все прощалось. Любовь Зинаиды Николаевны, как и материнская, была лишена какой бы то ни было корысти.

Сегодня, вглядываясь в ранние семейные фотографии Пастернаков, я замечаю, что Зинаида Николаевна ко времени моего знакомства с ней внешне мало изменилась, разве что некрасиво располнела, чуть ссутулилась, но чистая линия профиля, прямой нос с красиво вырезанными ноздрями, властно выступающая нижняя губа и горячие, темные, прямо «италианские» глаза под тяжелыми веками сохранили особенную, притягательную женственность. По натуре своей человек страстный, Зинаида Николаевна умела «властвовать собою». Эти черты ее характера полностью проявлялись в игре — от карт до маджонга: ее как партнера в играх высоко ценил Маяковский, сам прирожденный игрок. Думаю, что одергивания мужа происходили в те моменты, когда, по мнению Зинаиды Николаевны, Борис Леонидович вел себя излишне азартно, настаивая на своем за общим дружеским столом.

Подтверждение верности моих впечатлений тех лет о характере отношений Бориса Леонидовича с женой я много позже обнаружил в письме Ольги Фрейденберг к Пастернаку: «Слушайся, ради бога, Зининых увещеваний и поклянись, что ты взрослый» (7.11.50).

О существовании в жизни Пастернака Ольги Ивинской я впервые услышал от Зинаиды Николаевны в один из приездов на дачу в Переделкино.

Оба Бориса — Пастернак и Ливанов — отправились на прогулку, а я остался с мамой и стал невольным слушателем такого рассказа.

Однажды к Зинаиде Николаевне явилась какая-то незнакомая женщина, которая доверительно и печально поведала, что Ольга Ивинская внезапно заболела, находится при смерти и желает

сказать Зинаиде Николаевне последнее «прости».

Зинаида Николаевна — человек добрый и совестливый — страшно разволновалась и отправилась вслед за печальной вестницей исполнить последнюю волю умирающей любовницы своего мужа. Провожатая завела ее в комнату какой-то московской квартиры и исчезла.

В комнате, пропахшей тяжелыми лекарственными больничными запахами, на чисто застеленной кровати лежала умирающая. Тусклый свет стоящей на тумбочке в изголовье кровати настольной лампы, покрытой по абажуру платком, слабо высвечивал утопающую в подушках голову и тускло поблескивал на лекарственных пузырьках, составленных под лампой.

Умирающая слабым, прерывающимся голосом попросила Зинаиду Николаевну сесть. Опустившись на стул, Зинаида Николаевна стала напряженно вглядываться в лицо умирающей. Это лицо поразило ее своей страшной, неестественной чернотой. Возможно, эта чернота другому посетителю и добавила бы страха и правдоподобия при соприкосновении с близкой смертью. Но Зинаида Николаевна — прирожденный игрок — даже в смятении чувств умела просчитывать ходы свои и партнеров.

И когда умирающая стала лепетать о своей любви к Пастернаку, Зинаида Николаевна вдруг сорвала с абажура платок и в ярком свете лампы решительно провела концом платка по совершенно черному лицу, утопающему в подушках.

— Женя, ты представляешь? Она вымазала себе лицо сажей! Жженой пробкой, что ли… Бездарная аферистка, — заключила свой рассказ Зинаида Николаевна и, помолчав, выговорила с неподражаемой интонацией жалости и боли: — Бедный Боря!

Этой сажей Ивинская будет стараться вымазать даже память о Зинаиде Николаевне после смерти последней. Ивинская станет твердить при каждом удобном случае, что Борис Леонидович ругательски ругал свою жену и постоянно жаловался любовнице на тяготы своей семейной жизни.

В это невозможно поверить.

В письмах Пастернака к Ольге Фрейденберг и к моим родителям утверждается противоположное.

А если стареющий Пастернак и говорил о своих домашних своей любовнице те слова, которые она жаждала от него услышать, тем хуже для него, тем вернее горькое: «Бедный Боря».

Впрочем, поношений Зинаиды Николаевны нет и в письмах Бориса Леонидовича к Ивинской.

Если бы Борис Леонидович действительно не любил свою Зину, он оставил бы семью ради Ивинской, и никакие соображения добропорядочности не смогли бы его остановить. От

любых укоров совести Пастернак был прочно защищен своим возведенным в абсолют эгоизмом.

Замечательный пример пастернаковского эгоизма дает Н. Вильмонт[18] в своих воспоминаниях. Вильмонт, описывая жизнь «шестисердого союза», рассказывает о том, как неожиданно куда-то запропастился шестилетний мальчик Алеша, находящийся на попечении всех трех семей этой компании. Обнаружив исчезновение Алеши, все — взрослые и дети — бросились на его поиски. «Приняли участие в поисках и Борис Леонидович с Зинаидой Николаевной. Я застал их у колодца. Вооруженная багром Зинаида Николаевна безостановочно баламутила колодезную воду, неотрывно глядя на что-то горячо говорившего ей Бориса Леонидовича».

Ничто не могло остановить Пастернака, когда дело касалось его чувств и желаний. А если учесть, что Пастернак в приведенной ситуации объясняется в любви жене своего друга, в то время как его жена Женя[19] и его друг Генрих Нейгауз заняты поисками пропавшего ребенка…

Но — таков невыдуманный Пастернак.

Дар подруг и товарок
Он пустил в оборот
И вернул им в подарок
Целый мир в свой черед.
Но для первой же юбки
Он порвет повода,
И какие поступки
Совершит он тогда!

(«Вакханалия»)

Надо было быть женщиной редкой душевной чистоты и стойкости, чтобы, осознавая исключительный поэтический дар Пастернака, нести тяжелый крест ничем не запятнанной любви к Борису Леонидовичу. И Зинаида Николаевна Пастернак такой женщиной была.

Можно только догадываться о переживаниях сына Пастернака Лени, особенно в последние месяцы жизни его отца, когда в многочисленных зарубежных изданиях — газетах, журналах, доходящих в переделкинский дом, — стали появляться фотографии Пастернака рядом с Ивинской и ее дочерью. Под этими фотографиями стояли хлесткие подписи, раздувающие близость этих двух особ к опальному поэту.

Что думал тогда Борис Леонидович о чувствах своего

родного, преданно любящего его и Зинаиду Николаевну сына и думал ли о нем вообще? Наверное, жестокие страдания Лени того времени ускорили его безвременную кончину. Его нашли мертвым за рулем стоящего у тротуара автомобиля — он умер от разрыва сердца. Леня, человек цельный, искренний, чуждый всякой позе, не дожил и до 40 лет.

Впрочем, что им, бесстыжим,
Жалость, совесть и страх
Пред живым чернокнижьем
В их горячих руках?

Не слишком ли высокой ценой оплачено такое «чернокнижье», которому есть в русском языке другой, непоэтический синоним?

Но об этом достаточно.

В натуре Бориса Леонидовича были черты, традиционно более подходящие женскому характеру. Он знал за собой это женоподобие, и ему оно нравилось. Берусь утверждать это потому, что Борис Леонидович охотно, громко и прилюдно страдал по поводу женских странностей своей натуры.[20]

И это проявление в нем — тоже женское. Причем женские черты эти обличали присутствие в натуре Пастернака очень своенравной и, если хотите, коварной женщины. Бориса Леонидовича, особенно на людях, одолевала страсть нравиться, обольщать. Предметом обольщения становился любой непосвященный, попавший в поле его зрения.

Помню одного простодушного человека, испытавшего на себе всю прелесть женского коварства Пастернака.

Сейчас уже не могу вспомнить, кто именно из друзей моих родителей попросил разрешения привести с собой в наш дом на званый ужин своего то ли знакомого, то ли дальнего родственника, приехавшего в Москву из провинции.

В нашем доме за праздничным столом всегда собирались близкие друзья: художник Кончаловский, кинорежиссер Довженко, писатель Вс. Иванов, хирург Очкин, редактор Чагин. Вполне возможно, что на том званом ужине был еще кто-то, а кого-то из перечисленных мною тогда не было — это не важно.

И конечно, был Борис Леонидович.

Не знаю, насколько ясные представления свежий гость, скованный застенчивостью довольно молодой человек, представившийся архитектором, имел о присутствующих, но хозяин дома, прославленный артист, был ему знаком по многочисленным ролям если не в театре, то в кино. Восхищенный

неожиданной близостью экранной знаменитости и радушным приемом, гость «ел» влюбленными глазами хозяина и ловил каждое его слово. Все, кроме Бориса Ливанова, гостем обозначались явно: «и другие». Такого отношения к своей персоне Борис Леонидович стерпеть не мог. Не дожидаясь, когда его попросят, как было заведено, прочесть стихи, а он сначала откажется, а потом все-таки согласится, Пастернак стал читать без всяких просьб, перекрыв своим гудящим, глуховатым баритоном застольные разговоры. Все внимание переключилось на него. Но он никого не замечал, кроме теперь смотрящего в рот поэту свежего гостя. Потом затеял с ним разговоры об архитектуре, громко восхищался суждениями гостя об этом предмете и призывал к восхищению всех присутствующих. Потом опять замечательно читал свои стихи, рассказал забавную историю о Маяковском и кончил тем, что предложил выпить за здоровье своего нового друга. При этом потребовал погасить в комнате свет, зажег каким-то одному ему известным способом коньяк в своей рюмке и стоя выпил эту пылающую синим огнем рюмку до дна.

Так завершился тот памятный вечер.

Естественно, архитектор, задержавшийся в Москве по делам (а я думаю, что только с целью продолжить знакомство), настаивал на следующей встрече со счастливо обретенным другом — поэтом Борисом Пастернаком. То ли знакомые, то ли родственники архитектора, у которых он остановился в Москве, уступили его настояниям и собрали у себя застолье в прежнем составе. Родители мои тоже были приглашены.

И конечно, был Борис Леонидович.

Потрясенный внезапной вспышкой высоких дружеских чувств в Пастернаке к незнакомому, случайному в этом кругу гостей человеку, я ревниво стал выспрашивать у мамы об ожидаемом продолжении этой внезапной душевной близости. Оказалось, что Борис Леонидович заметно помрачнел, когда его новый друг раскрыл ему навстречу объятия, сидя за столом, что-то невразумительно бурчал на его вопросы, а то и вообще пропускал обращенные к нему слова мимо ушей, а где-то раздобытую архитектором книгу стихов, приготовленную Пастернаку для автографа, вообще, как выяснилось, забыл подписать. Ни о каких декламациях и пылающих рюмках не могло быть и речи.

Мама сказала, что под конец вечера архитектор жестоко напился с горя и был оставлен гостями в бесчувственном состоянии. Мама посмеивалась, а я понял, что должен во что бы то ни стало таить от Пастернака свое отношение к нему, если не хочу, как тот несчастный архитектор, навсегда лишиться

пастернаковского внимания.

Я взрослел, и моя ребяческая любовь к Пастернаку претерпевала изменения. Любя своих родителей, я чувствовал их душевную близость с Пастернаком, был свидетелем их дружеских отношений, и это углубляло мою привязанность к Борису Леонидовичу Вместе с тем… наше общение состояло из его случайных вопросов о моем житье-бытье и моих немногословных ответов. Когда он узнал, что я зачитываюсь «Дэвидом Копперфильдом», он стал звать меня этим именем. Он был приветлив со мной, не более, и не давал мне повода как-то проявить мою особую привязанность к нему.

Я не мог ему довериться в том, что далеко за полночь, когда он читает стихи за дружеским застольем, я, давно сказавший гостям «спокойной ночи», выстаиваю босиком за приоткрытой дверью в комнату и через тюлевую занавеску, натянутую на стеклянные дверные окошки, наблюдаю его и слушаю. И уже могу повторить ему наизусть все те стихи, которые он читал у нас в доме, — у меня прекрасная память!

Мне казалось, что я достоин иметь с Пастернаком собственные дружеские отношения, а не жить отраженным светом родительской дружбы.

Избирательное отношение ко мне Пастернака началось, как потом выяснилось, благодаря одному эпизоду с моим участием, рассказанному Борису Леонидовичу поэтом Николаем Тихоновым. Этот случай Пастернак напомнил мне, уже взрослому человеку. Однажды Тихонов сидел в кабинете моего отца один, когда открылась дверь и очень бледный, худенький мальчик стал на пороге, уставя на гостя широко открытые, казалось невидящие глаза.

— Герцог Бекингемский ранен! — высоким дрожащим голосом сообщил мальчик и тут же ушел.

Через некоторое время мальчик снова появился в дверях. Теперь лицо его было залито слезами. Сквозь душившие мальчика рыдания Тихонов расслышал:

— Только что… умер герцог Бекингемский…

И, окончательно расплакавшись, странный мальчик удалился.

Тихонов решил проверить мелькнувшую догадку и, выскользнув вслед, крадучись пошел на звук глухих рыданий. В соседней комнате, стоя на полу на коленях, неутешно плакал мальчик, уткнувшись лицом в раскрытую на диване толстую книгу.

Сомнений не было: мальчик впервые читал «Трех мушкетеров». Тихонов говорил Борису Леонидовичу что его поразило не только неподдельно-живое восприятие литературы, в

данном случае Дюма, но и то, что мальчик, очевидно, всей душой полюбил неудачливого герцога Бекингемского, предпочтя его второстепенную в романе фигуру блестящим, победительным героям. Пастернак интересовался, сохранил ли я в памяти этот случай и действительно ли отдавал предпочтение герцогу Бекингемскому.

Услышав, что я ничего не забыл и моя любовь к лорду Бекингему неизменна, спросил, что я сейчас чувствую, вспоминая себя маленького, герцога Бекингемского и свои слезы.

— Счастье, — ответил я.

Борис Леонидович пришел в восторг и выкрикивал:

— Да, правда! Правда! Это счастье! Желаю вам счастья!

Вскоре после этого разговора я купил в уличном киоске журнал «Знамя» с первой публикацией стихов из романа «Доктор Живаго». Это случилось накануне дня рождения моего отца — в мае 1954 года.

На журнале Борис Леонидович сделал надпись:

> «Дорогой Вася! Желаю Вам счастья, из которого рождается искусство. Надписываю Вам этот номер журнала в день пятидесятилетия Вашего отца. Это главное. Пусть эта страница напоминает Вам об этом вечере, о Вашем отрочестве, о жизни на той улице и квартире, о маме и о гостях за тем столом».

А тогда, сразу после рассказа Николая Тихонова, Борис Леонидович, держа свои сведения обо мне, читателе, в секрете, подарил машинописную рукопись своего стихотворного цикла «В зверинце»:

> «Дорогому Васеньке Ливанову на здоровье и на счастье.
>
> *24 окт. 1947. Б. Пастернак».*

И вот наступили дни, когда меня не отправляли спать, я оставался с гостями, и если предполагалось, что Борис Леонидович будет читать стихи, то я слышал от родителей неправдоподобные слова: «Завтра можешь не ходить в школу».

Я помогал маме по хозяйству, прислуживал гостям за столом, а потом затаивался в большом кресле в углу комнаты и ждал.

Готовясь читать стихи, Борис Леонидович отодвигал от себя столовый прибор, чашку, рюмку и на освободившееся на белой скатерти место выкладывал перед собой кисти рук.

Их невозможно забыть — руки Пастернака. Вся полнота его

чувств, все состояния души оживали в их движениях, воплощались в них. Он никогда не жестикулировал в принятом понимании этого слова. Руки двигались по скатерти, пальцы сцеплялись, расходились, ладони взлетали и падали, как подстреленные птицы. Я не помню руку Пастернака, сжатую в кулак, — такого никогда не было. Помню подрагивание вытянутых пальцев, довершавших своей мукой то, что не удалось высказать словами. Руки были выразительнее лица, выразительнее голоса, выразительнее стихов. Я почему-то убежден, что такое же ощущение оставляли руки Пушкина — впечатление абсолютного совершенства. Время от времени, когда забывалась какая-нибудь строка или слово, Пастернак, прикрыв глаза, выбрасывал руку в мою сторону. Из своего угла я вполголоса подсказывал ускользнувшее из его памяти…

Восхитительная иллюзия соавторства, живые уроки пастернаковской «школы».

Не на шутку встревоженный участью, постигшей злополучного архитектора, я, оберегая свою любовь к Пастернаку от него самого, довольно нелепо постарался выказывать свое безразличие к его особе. И преуспел. Заметив, что чары его ослабели по какой-то непонятной ему причине, Борис Леонидович преподнес мне «Короля Лира» в своем переводе с такой надписью:

> «Дорогому Васеньке Ливанову, только чтобы он не проверял этого по английскому тексту, которым он так хорошо владеет.
>
> *Б.П. 11 апр. 1949 г»*

Это была явная, намеренная лесть. Борис Леонидович прекрасно знал, что с моим английским Шекспира не прочтешь — он сам имел случай в этом удостовериться. Но «коварная женщина», не дававшая покою Пастернаку, шла на все для удержания своих поклонников, даже таких никчемных, как я.

Своего Пастернак добился. Я, конечно, был польщен.

Среди исследователей творчества Пастернака в наше время бытует мнение, будто поэт ждал ареста в 1937 году. Прямых подтверждений этому нет.

В том роковом году издательство «Советский писатель» выпустило революционные поэмы Пастернака «Лейтенант Шмидт» и «1905». Обращает на себя внимание оформление книжки: форменная красная звезда на серой, словно шинель сотрудника НКВД, обложке.

Очевидно, эта книжка должна была служить «охранной

грамотой» поэта, чем-то вроде документа, удостоверяющего его «революционную сознательность», гражданскую лояльность.

Версия телефонного разговора Пастернака со Сталиным в 1933 году, приводимая в воспоминаниях Н. Мандельштам, представляется мне приукрашенной и малоправдоподобной. Ведь при этом разговоре рядом с Пастернаком присутствовал только один человек — Ник. Вильмонт, и нет никаких оснований не верить его свидетельству: репутация Вильмонта как честного человека безупречна.

Вот его свидетельство:

«**Сталин**. Говорит Сталин. Вы хлопочете за вашего друга Мандельштама?

Пастернак. Дружбы между нами, собственно, никогда не было. Скорее наоборот. Я тяготился общением с ним. Но поговорить с вами — об этом я всегда мечтал.

Сталин. Мы, старые большевики, никогда не отрекались от своих друзей. А вести с вами посторонние разговоры мне незачем.

На этом разговор оборвался.

Конечно, я слышал только то, что говорил Пастернак, сказанное Сталиным до меня не доходило. Но его слова тут же передал мне Борис Леонидович. И сгоряча поведал обо всем, что было ему известно. И немедленно ринулся к названному ему телефону с тем, чтобы уверить Сталина, что Мандельштам и впрямь никогда не был его другом, что он отнюдь не из трусости “отрекся” от никогда не существовавшей дружбы. Это разъяснение ему казалось необходимым, самым важным. Телефон не ответил».[21]

«Твердая четверка», выведенная А. Ахматовой Пастернаку за разговор со Сталиным, возникла после пастернаковских рассказов об этом разговоре, где Борис Леонидович, конечно же, смешивал то, что он сказал на самом деле, с тем, что хотел бы сказать. Это свойство Пастернака при пересказе им своих слов и поступков знали близкие.

О. Фрейденберг в одном из писем смеется: «Ты (Пастернак. — *В. Л.*) неисправимый… литератор!» (6.1.51).

В передаче Н. Мандельштам записано именно такое сочинительство Пастернака. Сталин, безусловно, не сомневался, что содержание стихов Мандельштама в его адрес Пастернаку известно. В том, что Сталин в этом не сомневается, не сомневался и Пастернак.

Поспешное отречение Пастернака от дружбы с Мандельштамом было вызвано, с одной стороны, понятным испугом, с другой — оправдывало Пастернака в собственных глазах, так как он сказал правду: дружбы между поэтами никогда

не было, Пастернак недолюбливал Мандельштама и не одобрял его стихов о Сталине. Его предшествующее телефонному разговору заступничество за Мандельштама вызвано желанием не «потерять лицо» перед просителями о заступничестве и простым сочувствием. В таких случаях говорится: «Так на моем месте поступил бы каждый».

Сталин, по всей вероятности, убедился, что Пастернак не одобряет Мандельштама, и, оставив Пастернака мучиться без оправдания, обвинив в «отречении от друзей», вместе с тем проявил сталинское «великодушие»: не сразу убил Мандельштама.

Прерванный диалог Пастернак все-таки продолжил, когда в 1936 году в «Известиях» были напечатаны стихотворения «Мне по душе строптивый норов…» и «Я понял — все живо…».

Когда в конце тридцатых годов во времена судебно-политических процессов раздувалась всесоюзная истерия ненависти к «врагам народа», то самые разные организации направляли любимому вождю коллективные письма с требованиями самой жестокой казни для обвиняемых. Было и письмо от Союза советских писателей. Среди подписавших его — Пастернак.

Что двигало им тогда? Фанатичная убежденность строителя нового коммунистического общества? В это, конечно, не верится. Тогда что же? Простой испуг перед всевластием сталинской воли? Тоже вряд ли, это было бы слишком примитивно.

А вот то, что это был один из выбранных Пастернаком способов продолжения оборванного Сталиным разговора, я вполне могу допустить.

Ведь Сталин фактически отказал поэту в доверии, обвинил в предательстве друзей. Может быть, Пастернак возжелал вернуть доверие человека, с которым «давно хотел поговорить». Во всяком случае, мне кажется, что такая догадка ближе всего к истине.

Думаю, продолжением диалога Сталин был доволен: «вождь и учитель» всегда желал, чтобы о нем при жизни говорили как о покойнике: или хорошо, или ничего. Еще раньше, в 1934 году, Пастернак писал своему отцу в Германию: «Я стал частицей своего времени и государства, и его интересы стали моими».

Было бы наивно думать, что письма Пастернака за границу не перлюстрировались. 1934 год — начало ГУЛАГа.

В 1947 году Пастернак надписывает моим родителям «Избранные стихи и поэмы» и дает оценку совместно прожитым в дружбе годам:

«Родным брату и сестре моим Борису и Евгении

Казимировне Ливановым, без которых я бы сдох с тоски в эти годы наибольшего благоприятствования.

Москва. 8 окт. 1947. Б. Пастернак».

Тоска тоской, но годы наибольшего благоприятствования не отмечены кавычками, а если учесть, что дружба эта развивалась и крепла с 1934 года, то ожидание ареста вряд ли входит в понятие благоприятствования.

Угроза ареста, нависшая над Пастернаком, возникает в конце сороковых годов. Об этом я узнал от весьма осведомленного человека. В середине шестидесятых мне довелось познакомиться с Львом Романовичем Шейниным, бывшим старшим следователем сталинской «комиссии по особо важным делам». В 1949 году Шейнин прямо из своего служебного кресла отправился под арест и был приговорен к расстрелу. Когда Сталину доложили, что Шейнин арестован и приговор ему вынесен, «лучший друг чекистов» процедил через всемирно известные усы: «По-моему, мы арестовали не того Шейнина». Поскольку никто из исполнителей сталинской воли не мог догадаться, как нужно понимать эти слова «гениального вождя», Шейнина решили на всякий случай не расстреливать и упрятали в ГУЛАГ. Таким образом, бывший «следователь по особо важным делам» пять лет пребывал в том аду, куда раньше одним росчерком пера отправил немало людей.

Из ГУЛАГа вышел уже действительно «не тот Шейнин». Единственным его желанием было найти хоть какое ни есть оправдание своей прежней деятельности. Такое оправдание он видел в беспрестанной выдаче разнообразной информации, считавшейся во время его службы секретной. Говорил он без умолку и готов был отвечать на любые вопросы, тем более что нашел во мне заинтересованного и терпеливого собеседника. После его рассказов из советской недавней истории — а рассказчик он был незаурядный — я подчас всю ночь без сна ворочался с боку на бок, пытаясь осмыслить услышанное.

И конечно же, один из первых моих вопросов к Шейнину был о Пастернаке.

Я узнал, что в 1949 году, когда Сталину доложили, что арест Пастернака подготовлен, «лучший друг писателей» вдруг продекламировал:

— «Цвет небесный, синий цвет…»[22] — А потом изрек: — Оставьте его, он — небожитель.

Так друзья Пастернака — грузинские поэты, которых он сделал всемирно известными своими переводами, волей судьбы спасли своего собрата. В подготовку ареста входили и

«обличения» Пастернака в центральной прессе типа: «…советская литература не может мириться с его поэзией…» — и проч., уничтожение новой книги стихов «Избранное» (1917–1947) и, по всей вероятности, арест Ивинской. И конечно, против автора должны были свидетельствовать страницы не оконченного еще романа.

Борису Леонидовичу не спеша, с садистским наслаждением давали понять, какая участь его ожидает.

Осознавая свое бесправие и бессилие, Борис Леонидович внутренне готовился встретить уготованную ему участь.

Прощался с друзьями.

В нашем семейном архиве есть две фотографии Пастернака, датированные 1949-м годом.

На первой, подаренной моему отцу, надпись:

> «Спасибо тебе за годы, проведенные вместе.
>
> Они много мне дали. От тебя всегда веяло манящим, замысловатым, драматическим духом искусства. Ты был его выразителем, его воплощением. Это не прощание, но это было, замкнулось, прошло, — со мной будет что-то другое».

На второй фотографии Пастернак запечатлен на фоне переделкинской веранды. Она надписана моей матери:

> «Женичка, прости, у меня нет фотографий, где я не был бы рожей. Вот тебе на память. Спасибо тебе за “Рождественскую звезду”, которую мне внушила елка на твоих именинах. Твой дом в течение всех этих лет восполнял мне исчезновение и убыль той вдохновляющей среды и атмосферы, которую должны были бы давать время и общество. Отчего я оглядываюсь сегодня назад на эти годы? Я с ними прощаюсь с благодарностью в каком-то хорошем, счастливом смысле.
>
> *Б. П. 11 апр. 1949 г»*

Слова о «небожителе», скорее всего по велению Сталина, были преданы широкой огласке. Борис Леонидович был последним, кто поверил, что угроза ареста его миновала.

Пастернак и Маяковский

Борис Леонидович бессчетно возвращался к одному и тому же воспоминанию.

Московской ночью, бредя откуда-то из гостей, он и Маяковский присели на скамейку безлюдного в этот поздний час Тверского бульвара.

— Я был тогда очень знаменит, — рассказывал Пастернак. — Мы сидели молча, и вдруг Маяковский попросил:

— Пастернак, объявите меня первым поэтом. Ну что вам стоит.

И, помолчав, добавил:

— А я сейчас же объявлю вас вторым.

Из-за частых повторений (кстати, для Пастернака несвойственных!) я запомнил этот рассказ дословно.

Рассказанное Борис Пастернак не комментировал, и продолжения эта странная история у него не имела. Слушатели воспринимали рассказ как новое свидетельство мрачноватого юмора и тщеславия Маяковского, смеялись.

Других рассказов о Маяковском я от Пастернака не слышал. В нашем доме появилась машинописная рукопись «Охранной грамоты», переданная Борисом Леонидовичем. Знакомая история вполне могла быть туда вписана, но между какими абзацами определить ей место?

Когда Пастернак был так знаменит, что затмил своей славой Маяковского?

Ясно, что разговор мог происходить до их разрыва, спровоцированного Пастернаком:

«Я же окончательно отошел от него. Я порвал с Маяковским вот по какому поводу. Несмотря на мои заявления о выходе из состава сотрудников “Лефа” и непринадлежности к их кругу мое имя продолжали печатать в списке участников. Я написал Маяковскому резкое письмо, которое должно было взорвать его». [23]

Забегая вперед, скажу, что выбранный Пастернаком способ провоцировать разрыв резким, оскорбительным письмом коснется и моего отца. Но об этом позже.

В начале двадцатых бесшабашных годов на поэтических диспутах и состязаниях происходили какие-то диковатые и веселые «выборы в гении», «первые поэты» и проч. Симпатии поклонников поэзии чуть ли не ежедневно менялись, вчерашние кумиры свергались и создавались новые, чтобы назавтра в свою очередь быть свергнутыми.

Скорее всего, ночной разговор между Пастернаком и Маяковским происходил после таких «выборов», где они вместе выступали перед публикой.

Сталинский режим эту веселую стихию прибрал к рукам, приспособил к своим интересам. Талант стал обозначаться как государственная должность, в которую могли назначить или из которой могли уволить.

С созданием Союза писателей утвердилась негласная табель о рангах, где место писателя определялось прежде всего его способностью жить в применении к режиму.

Но состязание в поэтическом первенстве по «гамбургскому счету» тем не менее продолжалось. Упреки Пастернака в адрес Маяковского: «Я знаю, ваш путь неподделен, но как вас могло занести под своды таких богаделен на искреннем вашем пути?»[24] — оказались несостоятельными.

Маяковский все же сумел выразить себя «во весь голос», а затем выиграл поэтическую дуэль одним выстрелом всерьез, поставив «точку пули в своем конце».[25] И тем, вслед за Гумилевым и Есениным, продолжал знаменитый герценовский список русских поэтов.

Очевидно, с удесятеренной силой охватили Пастернака те чувства и мысли, о которых он поведал, описывая одну из своих ранних встреч с Маяковским:

> «Вернувшись в совершенном потрясении тогда с бульвара, я не знал, что предпринять: я сознавал себя полной бездарностью. Это было бы еще с полбеды. Но я чувствовал какую-то вину перед ним и не мог ее осмыслить. Если бы я был моложе, я бы бросил литературу. Но этому мешал мой возраст».
>
> *(«Люди и положения»)*

В этом же душевном состоянии написаны стихи на смерть Маяковского.

Думаю, у Пастернака возникли мысли о самоубийстве. Он старался проанализировать случившееся и, проанализировав, примерить это на себя.

Не подошло!

Пастернак заметался. Он не желал быть признанным первым поэтом только потому, что Маяковского не стало. А к тому шло. Сначала поддавшись соблазну, он все-таки сумел осилить себя, стал осторожно выбирать поэтическую тропу, чтобы — не дай бог! — нигде не ступить в след Маяковскому.

Признание Сталиным Маяковского «лучшим и

талантливейшим» облегчило Пастернаку непосильное внутреннее соперничество с мертвым поэтом, как бы сняло с него ответственность перед лицом Маяковского, изменило условия поэтического состязания, утвердило Пастернака в верном выборе своего поэтического пути. Маяковский, даже покончив с собой, не смог избежать государственного назначения в «лучшие и талантливейшие».

> «Маяковского стали вводить как картошку при Екатерине. Это было его второй смертью. Он в ней неповинен».

Значит, его, пастернаковское, стремление быть лучшим и талантливейшим может, должно состояться без чьих бы то ни было объявлений и утверждений. И это непременное желание стало его тайной. И только этой тайной Пастернака я могу объяснить происхождение благодарственного письма Сталину за фразу о Маяковском.

Ведь не хотел же Пастернак в самом деле «примазаться» к сталинским определениям или выступить экспертом по утверждению сталинских оценок! Но почему-то никто другой, как Пастернак, не счел нужным поблагодарить Сталина…

С годами его тайна облеклась в форму романа. Именно в романе, в нескольких строках, которыми главный герой характеризует творчество Маяковского, заключается весь смысл состязания этих двух поэтов, как понимал его Пастернак, все то, чем может определяться победа в этом состязании:

> «Какая всепожирающая сила дарования! Как сказано это раз и навсегда, непримиримо и прямолинейно! А главное, с каким смелым размахом шваркнуло все это в лицо общества и куда-то дальше, в пространство!»
>
> *(«Доктор Живаго»)*

Так, через оценку творчества Маяковского, определена сверхзадача собственного творчества, а значит, и смысл всей жизни.

Тайна эта, которую Борис Леонидович носил в себе долгие годы, мучила его несказанно. Он боялся, что задуманное вдруг не состоится по не зависящим от него причинам: возраст, здоровье и проч. Боялся, что вынужденная быть тайной жизнь переделкинского «отшельника» приведет к непониманию его творчества новым поколением, а то и просто к забвению. Переводы Шекспира давали ему хорошие средства к жизни, но

повсеместно признанные удачи на этом поприще его тоже пугали — он вовсе не желал оставаться прежде всего переводчиком, пусть даже гениальным. Вместе с тем свою раннюю поэзию, современную Маяковскому, он демонстративно отвергал, а лучшие новые стихи ревниво оберегал от широкой огласки, приберегая их для романа.

Однажды на многолюдной встрече Нового, 1948 года в Центральном Доме литераторов к столику, за которым сидел Борис Леонидович, подошел поэт Сергей Васильев. Как позже выяснилось, этот поэт хотел сказать Борису Леонидовичу, что хотя молодое послевоенное поколение не знает поэзии Пастернака, но для людей старшего поколения он навсегда остается и т. д. и т. п.

Но как только Васильев начал свое славословие и произнес слова о не знающем поэта Пастернака молодом поколении, Борис Леонидович выскочил из-за столика, набросился на Васильева и стал его самым серьезным образом душить. Возник переполох, Пастернака пришлось оттаскивать силой. Все это я знаю от самого Бориса Леонидовича, который на следующий день появился в нашем доме с взволнованным рассказом о своей, принявшей такой неожиданный оборот встрече Нового года, и они с моим отцом обсуждали, какие шаги необходимо предпринять, чтобы замять публичный скандал.

— Скажи, что тебе это было необходимо сделать: ты сейчас работаешь над переводом «Отелло», — подтрунивал отец.

Вообще Пастернак часто затевал разговоры на тему, хорошо ли быть знаменитым. Как-то во время такого разговора моя мама сказала:

— Боря, быть знаменитым — некрасиво…

Беседа эта происходила на даче у Пастернаков в Переделкино.

Из воспоминаний Евгении Ливановой:

«Все, кроме Бориса Леонидовича, пошли гулять, а он, извинившись, остался дома. Мы вернулись часа через два. Пастернак сказал, что вместо того, чтобы отдыхать, он написал мне в книгу. И прочел: “А теперь о себе, то, что ты сегодня говорила:

Быть знаменитым некрасиво,
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.
Как кутает туман окрестность,
Так что не различить ни зги,

Таинственная неизвестность
Пускай хранит твои шаги.
Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать,
Чтоб в жизни ни единой долькой
Не отступиться от лица
И быть живым, живым и только,
Живым и только до конца”».

Это первый набросок знаменитых стихов о том, как не надо быть знаменитым. Пастернак их доработал. Эти строки — одно из «вымощенных стихами» благих намерений Пастернака.

Благими намереньями вымощен ад.
Установился взгляд,
Что, если вымостить ими стихи,
Простятся все грехи.

Поэма «Высокая болезнь» помечена двумя датами: 1923, 1928. Пастернак возвращался к этим стихам на протяжении по крайней мере пяти лет и сформулировал в них свое жизненное кредо.

Но где, когда, кем «установился» такой взгляд?

«Установился взгляд» самим Пастернаком и для самого Пастернака. Это его личная нравственная установка, возведенная для себя в правило. Любое благое намерение, «вымощенное стихами», освобождало его от необходимости этому намерению следовать вне поэтического образа — в образе его жизни.

Очень неожиданный взгляд для зрелой творческой личности, испытавшей еще с детства, в родительской семье, сильное нравственное влияние Льва Толстого. Хотя… Вот что напишет Пастернак в связи с появлением в доме его родителей Скрябина:

«Он спорил с отцом о жизни, об искусстве, о добре и зле, нападал на Толстого, проповедывая сверхчеловека, аморализм, ницшеанство. Скрябин покорил меня свежестью своего духа. Я любил его до безумия».

Но, быть может, вместе с самостоятельным творчеством, поисками своего пути и с первыми успехами родился протест против сильного определенного влияния чужой творческой воли, освобождение от которой давало ощущение своей независимости, изначальности?

Но вернусь к Маяковскому Слава богу сохранилась надпись

Пастернака моему отцу Она сделана на фотографии — выкадровке из группового снимка, запечатлевшего стоящих рядом Пастернака и Маяковского. Рука Маяковского локтем, всей тяжестью опущена на плечо Пастернака.

> «Ах, как я помню эту минуту! Это было после мороженого со смородиновой почкой у японцев. Я тебя люблю, как любил его. Целую и надписываю тебе и Жене.
>
> *твой Б.»*

Дата надписи — 1947 год. Пастернак уже читал нам главы из своего нового романа.

«Бедный Боря!»

Один знакомый сказал мне: никогда не осуждайте людей, особенно советских.

Из письма О. Фрейденберг Б. Пастернаку (17.11.54)

Мой дед Николай Ливанов, старый актер, в прошлом провинциальный театральный «лев», как-то подсказал мне забавный актерский способ лучшего распознавания незнакомого человека. Дед советовал представить незнакомца в одежде театральной, любого времени и стиля, органически сливающейся с внешностью незнакомца, и развивать дальнейшие отношения через этот воображаемый костюмированный образ. Эта игра-распознавание оказалась очень увлекательной и, что самое поразительное, почти безошибочно верной при отгадке сути характера.

Мы с дедом начали с проверки правильного понимания нами близко знакомых. И сейчас, вспоминая деда, я лучше всего представляю его себе не иначе как франтом в длинном сером сюртуке и сером цилиндре с тяжелой тростью в сильной руке, обтянутой мягкой лайковой перчаткой, — хотя в таком или похожем наряде в жизни его не знал. Мой отец неотделим для меня от рыцарских лат и т. п.

При первом знакомстве я научился правильно «одевать» людей довольно скоро, но, помню, долго мучился, когда однажды дед указал на хорошо, как потом выяснилось, ему знакомую даму, а мне совершенно неизвестную.

Наконец я признался деду, что не могу подобрать ей никакой наряд, а скорее могу представить ее вообще без всякой одежды.

— Угадал! — захохотал дед.

Мне, помню, было страшно неловко перед дамой, когда я оказался напротив нее за гостевым столом и она пыталась вовлечь меня в какую-то нравоучительную беседу.

…Вчера вечером позвонил Пастернак, сказал, что его давно одолевает какой-то юноша, который пишет стихи, и Борис Леонидович, не в силах отказать, в ответ на нескончаемые мольбы сам просит моих родителей, если найдется место в машине, захватить настырного просителя в Переделкино завтра, в воскресенье.

И вот ранним воскресным солнечным утром той ранней

весны я открыл дверь нашего дома ожидаемому незнакомцу. Передо мной, переминаясь с ноги на ногу, стоял малорослый юноша, сутулый, с головой, пригнутой в угодливом — чего изволите? — полупоклоне. Этот нелепый наклон головы, как я скоро подметил, происходил оттого, что природа забыла наделить юношу шеей — голова вытарчивала вперед, казалось, прямо из впалой груди. Юноша тоже некоторое время рассматривал меня наглыми белесыми глазками, а когда заговорил, то отвел взгляд с притворной застенчивостью.

Ливрея, лакейская ливрея с позументом, нитяные чулки и грубые башмаки с аляповатыми пряжками — вот идеальный наряд для этой фигуры! Ох и хорош бы он был, откидывая подножку золоченой вельможной кареты…

Позже, уже после смерти Пастернака, я видел этого юношу в переполненном зале нового театра «Современник», на каком-то утреннике молодых поэтов, где он в черном свитере, ворот которого наползал ему на подбородок, с гнусавыми подвываниями выкрикивал что-то вроде: «Да здравствуют жопы пошире Европы!» — и имел шумный успех.

Но первое впечатление от знакомства с лакеем не проходило.

Лет через двадцать после нашей первой встречи он, в твидовом английском пиджаке, вылез ко мне на улице из новенького автомобиля с книжицей своих стихов, раскрыв которую тут же стал черкать свой автограф, и я отметил, что теперь то место, где должна быть у человека шея, он обозначает кокетливым цветным платочком, завязанным под подпирающий уши расстегнутый ворот рубахи, и хотя голова по-прежнему пребывает в положении «чего изволите?», зато нижняя губа высокомерно оттопырилась, а весь он погрузнел, обрюзг и больше не годится опускать подножку барской кареты, а вполне подходит для встречи именитых гостей на начищенном паркете у парадной лестницы хозяйского особняка.

А недавно я наблюдал его среди гостевой толкучки на приеме в одном из гостеприимных иностранных посольств. Он прижал в углу какого-то респектабельного господина и что-то неумолчно вещал ему через свою совсем по-старчески отвисшую нижнюю губу. Неизменен был цветной платочек на месте шеи, но белый чесучовый пиджак очень уж заметно горбатился на спине, а сильное поредение волос надо лбом компенсировалось спущенными с затылка длинными седыми космами.

И я подумал, что, возможно, недалек тот день, когда обжитая писательская «людская», где наш лакей отвоевал себе теплое местечко, опустеет и будет стоять с запыленными окнами и запертыми дверями — за ненадобностью литературной прислуги.

В Москве на большой юбилейной выставке «Мир Пастернака» я обратил внимание на знакомую мне фотографию в одном из остекленных стендов, снятую польскими гостями пастернаковской дачи в Переделкино в июле 1957 года.

На первом плане Борис Леонидович, нарядный, в белом костюме. За ним на ступенях террасы две фигуры: смеющаяся женщина в накинутом на плечи платке и улыбающийся юнец. Эти двое — моя мать (не узнаваемая для огромного большинства посетителей выставки) и поэт Андрей Вознесенский (должно быть, узнаваемый этим большинством), фигура Пастернака сдвинута к левому краю кадра. Изображение стоящего еще левее, рядом с Борисом Леонидовичем, человека аккуратно отрезано: виден лишь локоть и край пиджака. На всей выставке, торжественно разрекламированной прессой и телевидением как самое емкое и полное отображение жизни и творчества поэта, посетители не увидели не только лица близкого друга Пастернака, прославленного актера Бориса Ливанова, но не смогли прочесть ни одной строчки, адресованной ему поэтом. Случайность ли? Упущение устроителей выставки? Или просто не осталось никаких наглядных свидетельств этой дружеской близости поэта и актера — многолетней, творческой?

Ни то, ни другое, ни третье.

В 1972 году (год смерти Бориса Ливанова) на Западе была опубликована книга Ольги Ивинской — любовницы Пастернака в последний период его жизни. О. Ивинская вынесла в заглавие пастернаковскую строчку «у времени в плену» и, очевидно, как бывший литературный редактор, эту строчку отредактировала: «В плену у времени» — так озаглавлены ее воспоминания. Из этой книги западные читатели и даже литературоведы черпали «правду» о Пастернаке-поэте, о его жизни в обществе и в семье, о его друзьях и врагах.

И черпали, и толковали, и распространяли эту «правду» о поэте, поскольку в России, даже после посмертной публикации пастернаковских стихов, никаких воспоминаний о нем не появлялось. Да и не могло появиться: роман «Доктор Живаго», объявленный державными и литературными властями «антисоветским», оставался под цензурным запретом, и до 85-го года никому не могло прийти в голову, что Россия беременна «гласностью». Не подозревал об этом и А. Вознесенский. Но, удачно назначенный в брежневское правление «левым» поэтом, он, среди немногих советских литераторов, имел возможность часто выезжать за границу, где быстро разнюхал конъюнктуру, сложившуюся вокруг книги О. Ивинской. Шустрый «выездной» поэт сообразил, что сможет освежить на Западе давно увядший

интерес к своей персоне, стоит только привязать себя потуже к мировой славе Нобелевского лауреата. Поскольку собственные воспоминания А. Вознесенского о Пастернаке не отличались богатством оттенков, такие оттенки следовало выдумать, а главное, эти выдумки теперь должны обязательно совпадать с оценками людей и ситуаций «по Ивинской». Этими «совпадениями» можно сфальсифицировать правдоподобие «близости» Вознесенского к миру Пастернака. А покуда сведущие люди разберутся… да и когда-то еще это будет? И будет ли вообще?

Есть разные пути самоутверждения. Но самый неправедный путь — утверждаться за счет унижения других. И человек, употребивший такой способ возноситься, уж непременно выберет для унижения личность покрупнее, повиднее, поталантливее, поблагороднее. А так как предпочитающий такой путь самоутверждения еще обязательно и трус, то заранее постарается оберечься от возможного риска быть схваченным за руку в мошеннической проделке. Обозначился и «моськин комплекс» по бессмертной басне Крылова.

Вознесенский, заглянув в книгу Ивинской, решил остановиться для подходящего «совпадения» на отношении поэта к личности Бориса Ливанова, наиболее заметной в кругу Пастернака. Необходимо разобраться, чем же Борис Ливанов, близкий друг Пастернака, так Ивинской не «угодил», что она осмелилась его печатно оболгать. Но к этому разбору я вернусь позже, а сейчас хочу покончить с околопастернаковским самозванством ее последователя. Замечу, иллюзия близости к Пастернаку удалась Вознесенскому и в немалой степени способствовала его возникновению в роли председателя комиссии по литературному наследию Бориса Леонидовича.

Каков же первый шаг Вознесенского на последнем пастернаковском «поле сражения»? А вот какой: по его инициативе мертвый Борис Пастернак заново зачислен в Союз писателей СССР, тот самый, с проклятиями исторгший в свое время живого поэта из своей среды.

Теперь Пастернак «прощен», его имя снова поставлено в один ряд с именами его хулителей, гонителей-убийц. Так, бессовестно спекулируя памятью прошлого, Вознесенский постарался «реабилитировать» не Пастернака, конечно, — Борис Леонидович в этом не нуждается — а Союз писателей, которому, в отличие от Пастернака, Вознесенский обязан многими благами.

В 1984 году наконец вышла книга «Борис Ливанов», часть которой составили воспоминания моей матери Евгении Ливановой. Как я теперь понимаю, Ивинская, а за ней

Вознесенский должны были неприятно разволноваться, узнав о появлении воспоминаний о Пастернаке, написанных женой Бориса Ливанова, тоже входящей в узкий круг близких друзей поэта. Но, прочтя усеченные цензурой страницы, никак не затрагивающие распространяемую этим тандемом ложь о Борисе Ливанове, успокоились. Они, очевидно, пришли к выводу, что раз Евг. Ливанова не воспользовалась возможностью вступиться за честь своего мужа, то, значит, в ливановском архиве нет убедительных, документальных доказательств, способных разоблачить лгунов.

И вот Вознесенский, когда-то скачущий под ногами Пастернака зеленым лягушонком, на наших глазах принялся раздуваться в вола.

В популярном литературном журнале появились его «мемуары» под названием «Мне 14 лет». Дальше я предоставлю читателю возможность сравнить оценки Бориса Ливанова у Ивинской с тем, что состряпал о нем Вознесенский. А пока сравним Вознесенского с Вознесенским. Если при жизни Бориса Леонидовича Вознесенский поэтически восклицал: «Громовый Ливанов, ну где ваш несыгранный Гамлет?» — то теперь грозовые раскаты не делали нужной Вознесенскому погоды, и Ливанов представал как «эдакий рубаха-барин».

Если раньше, встретившись с Ливановым в доме Пастернака, Вознесенский преподнес ему свою книжицу с надписью: «Гениальному Борису Николаевичу Ливанову — единственному», то теперь он же тщился представить его просто-напросто… самоваром с медалями в пастернаковском застолье, которое окрестил «сборищем».

Но кто есть кто, по Вознесенскому, в этом «сборище» у Пастернака? Вот они, наперечет: С. Чиковани, П. Чагин, Ливанов, Асеев, Ахматова, Вс. Иванов, Рихтер, Нейгауз, Асмус, Ир. Андроников, Рубен Симонов.

И что бы вы думали? Для чего и для кого собрались здесь все эти люди?

«Он (Пастернак. — *В. Л.)* щедро дарил моему взору великолепие своих собратьев. У нас был как бы немой заговор с ним. Порой сквозь захмелевший монолог тоста я вдруг ловил его смешливый, карий, заговорщицкий взгляд, адресованный мне (уж мы-то — надо читать, — Андрюша, знаем всем им настоящую цену! — *В. Л.)*, сообщающий нечто, понятное нам обоим». И все это, по замыслу «мемуариста», должно было происходить в те времена, когда Николай Асеев иначе не произносил фамилию Вознесенский, как «Важнощенский». Кстати, о юных щенках и взрослых пустобрехах, которые из них порой вырастают:

«Он (Пастернак. — *В. Л.)*, как сухая нервная борзая, за версту чуял строку…»

И здесь Вознесенский далек от правды. Известно, что у борзой очень плохое чутье, отличительные ее достоинства — острое зрение и скорость. Впрочем, о чем я? Добросовестность и точность у Вознесенского — как нюх у борзой. Теперь обратимся к воспоминаниям Ивинской:

«Актер МХАТа Борис Ливанов исподволь, но достаточно определенно пытался внушить Б. Л., что тот прежде всего — лирический поэт, и потому неразумно уделять столько времени и сил роману. А тем более отстаивать право на его существование».

Читатель теперь понимает, насколько умышленно огрублено и примитивизировано Ивинской отношение моего отца к проблемам, возникшим вокруг пастернаковского романа. Но Ивинская продолжает:

«Тринадцатого сентября 59 г. во время воскресного обеда на большой даче Ливанов снова начал что-то говорить о “Докторе Живаго”, Боря (имеется в виду Пастернак. — *В. Л.)* не выдержал и попросил его замолчать.

— Ты хотел играть Гамлета, с какими средствами ты хотел его играть?

Между тем о роли Гамлета Ливанов мечтал всю жизнь и рассказывал, что на приеме в Кремле даже у самого Сталина просил совета — как лучше сыграть эту роль. Сталин ответил, что с этим вопросом лучше обратиться к Немировичу-Данченко, но что лично он играть Гамлета не стал бы, ибо эта пьеса пессимистичная и реакционная. На этом попытка Ливанова завершилась, но мечта о Гамлете осталась. И Боря (Пастернак. — *В. Л.)* на нее невежливо наступил».

У Вознесенского:

«Несыгранный Гамлет был его трагедией, боль эту он заглушал гаерством и куражами буффона». Так создается совпадение в том, что о роли Гамлета Ливанов мечтал всю жизнь, а выдумывая, будто Ливанов «заглушал боль» пустым шутовством, Вознесенский стремился оглупить и принизить друга Пастернака, чтобы утвердить образ человека, способного «просить совета у Сталина — как сыграть эту роль». К этому целенаправленному оглуплению относятся все другие характеристики Б. Ливанова, состряпанные Вознесенским.

Однако о разговоре со Сталиным Вознесенский помалкивает. Здесь ему слишком опасно лгать, ведь он публикуется в России, где правда об этом разговоре известна многим, как, впрочем, известна она и самому Вознесенскому.

Сделавшись председателем комиссии по литературному наследию Б. Л. Пастернака, Вознесенский на страницах «Литературной газеты» спешит сообщить: «Дни общения с Б. Л. Пастернаком я описал в своих воспоминаниях “Мне 14 лет”, публикация которых была в хмурые времена остановлена, и редакции “Нового мира” с трудом удалось отстоять их».

Позволю себе усомниться в «трудностях» публикации А. Вознесенского, которому в «хмурые времена» была вручена Государственная премия СССР той же самой компанией, что преподнесла Ленинскую премию Л. И. Брежневу за успехи в литературе. А честную книгу Н. Вильмонта «О Борисе Пастернаке» и воспоминания Евг. Ливановой тогда не публиковали.

В «воспоминаниях» О. Ивинской каждое слово — ложь, и особенно наглая потому, что умышленная. Начнем с того, что в указанный день Ивинская «на большой даче» не присутствовала (она, впрочем, никогда там не присутствовала при жизни Пастернака, ей даже запрещалось появляться на дороге, ведущей к дачной калитке). О происходящем она узнала, как можно предположить из ее дальнейших воспоминаний, «в понедельник утром» от Пастернака. Мы теперь знаем, что именно Ливанов мог говорить Пастернаку о романе «Доктор Живаго», и даже если допустить, что Пастернак попросил его замолчать, то никогда уж не мог произнести такой идиотской фразы:

«…с какими средствами ты хотел его (Гамлета) играть?..» Речь о деньгах, что ли?

Но Ивинская не выбирает для Пастернака выражений, ее цель — оклеветать Ливанова, представить большого художника, определенного Пастернаком как «мятежник», на которого всякие начальники советского искусства давно навесили ярлык «неуправляемый», — послушным сталинским холопом, человеком случайным в пастернаковском окружении.

Ивинская пишет: «Ливанов рассказывал, что в свое время на приеме в Кремле…» Да, рассказывал, но не Ивинской. А сам Пастернак прекрасно знал историю разговора своего друга со Сталиным о Гамлете, и если пересказывал его своей любовнице, то, естественно, со слов друга, впоследствии точно записанных Евгенией Ливановой. Точность ее записи я свидетельствую, так как сам слышал этот рассказ от отца, который он неоднократно повторял для своих друзей и гостей, и не раз — по просьбе Бориса Пастернака.

Читаем у Евг. Ливановой:

«Из воспоминаний Борис Николаевич (Ливанов. — *В. Л.)* многое не написал. Он часто рассказывал. И теперь пишу то, что

отчетливо запомнилось.

…Прием в Кремле первых лауреатов Сталинской премии. Год — 1940-й. Один стол для членов правительства, в центре — Сталин. Столы для приглашенных стояли к правительственному торцами.

В конце приема ко мне подошел офицер, попросил “пройти за ним”.

— Куда мы идем?

Он ничего не ответил.

Полуосвещенные залы Кремля. Мы движемся из одного в другой. Наконец остановились у закрытой двери. Он постучал. Открыл Ворошилов.

— Здравствуйте, проходите.

Среди знакомых лиц много артистов.

Жданов играет на рояле Чайковского.

Вошел Сталин и, с приветственным жестом обращаясь к каждому, называл по фамилии. Поздоровавшись, спросил:

— Может быть, посмотрим фильм? Какой фильм будем смотреть? “Если завтра война” — посмотрим?

В фильме были кадры гитлеровской военной хроники. Потом предложил посмотреть “Волга-Волга”. Когда просмотр кончился, официанты стали разносить вина, кофе, фрукты.

Переходя от одной группы гостей к другой, Сталин оказался около меня. Сел на стул и предложил мне сесть на стоящий рядом. Начал разговор о Художественном театре. Между прочим сказал:

— Вы не вовремя поставили “Три сестры”. Чехов расслабляет. А сейчас такое время, когда люди должны верить в свои силы.

— Это прекрасный спектакль!

— Тем более, — сказал Сталин.

Потом спросил о “Гамлете”, который театр в это время репетировал. Я стал рассказывать о замысле нашего спектакля. Сталин внимательно слушал, иногда задавал вопросы, требующие точного, недвусмысленного ответа. Время от времени он чуть подымал руку, и напротив нас раздвигалась часть стены, выходил человек, неся на подносе две рюмки с коньяком: маленькую для Сталина, довольно большую — для меня. Сталин предлагал мне выпить и выпивал сам. Через некоторое время я заметил военного, появившегося у меня за спиной. Я понимал, что засиделся рядом со Сталиным. Но что он хочет, этот военный? Чтобы я прервал разговор и, извинившись, ушел? Вдруг военный больно нажал мне на плечо. Я рефлекторно хлопнул его по руке.

— В чем дело? — повернувшись к военному, спросил Сталин. — Мы вам мешаем?

Того как ветром сдуло.

Заканчивая разговор, Сталин спросил:

— Ваш Гамлет — сильный человек?

— Да.

— Это хорошо, потому что слабых бьют, — сказал Сталин.

Я посмотрел на часы: семь утра.

— Отчего вы забеспокоились?

— Что думает моя жена. Ушел на прием в семь вечера, а сейчас…

— Как зовут вашу жену?

— Евгения Казимировна.

— Передайте Евгении Казимировне привет от товарища Сталина.

Сталин поднялся и подвел меня к большой группе гостей. Предложил тост за актеров. Неожиданно спросил:

— А почему вы не в партии, товарищ Ливанов?

— Товарищ Сталин, я очень люблю свои недостатки.

Несколько секунд напряженной тишины, и Сталин расхохотался. Все потянулись к нему чокаться.

В это же утро я позвонил Леонтьеву — директору Большого театра. Он ведал в Кремле концертами.

— Знаешь…

— Я буду в Кремле сегодня. Постараюсь узнать. Позвони мне в четыре часа.

— …Боря, не волнуйся! Товарищ Сталин сказал: приятно было поговорить с мыслящим артистом. Начались звонки из газет:

— Борис Николаевич, вы долго разговаривали с товарищем Сталиным. Дайте интервью.

— Обратитесь к товарищу Сталину. Если он согласен — дам.

Второй раз не перезванивали».[26]

Значит, снова Ивинская целенаправленно клевещет, причем невозможно без смеха читать якобы сталинские слова: «Я бы не стал играть Гамлета» и проч.

Да, Ливанов мечтал когда-то, как мы уже знаем, играть Гамлета. Но не «всю жизнь» и, как мы тоже знаем, уже в начале пятидесятых безуспешно пытался воплотить на сцене МХАТа шекспировского «Лира» в переводе Пастернака и умер с мечтой об этой работе. Да и странно было бы для 5 5-летнего актера все «мечтать» сыграть Гамлета, «со средствами» или без.

Думаю, что боль за неосуществленную мечту о «Гамлете» во МХАТе, в постановке Немировича-Данченко, в прекрасных декорациях Вл. Дмитриева, с замечательным актерским составом, «всю жизнь» оставалась у самого Пастернака, так и не

увидевшего, после репетиций «Гамлета» во МХАТе, другого театрального воплощения, достойного Шекспира и его переводчика. Но пойдем дальше, к приводимому Ивинской письму Пастернака Ливанову от 14 сентября 59-го года.

> «Дорогой Борис, тогда, когда мы поговорили с тобой по поводу Погодина и Анны Никандровны, у нас не было разрыва, а теперь он есть и будет. Около года я не мог нахвалиться на здоровье и забыл, что такое бессонница, а вчера после того, что ты побывал у нас, я места себе не находил от отвращения к жизни и самому себе, и двойная порция снотворной отравы не дала мне сна. И дело не в вине[27] и твоих отступлениях от правил приличия, а в том, что я давно оторвался и ушел от серого, постылого, занудливого прошлого и думал, что забыл его, а ты с головы до ног его сплошное воплощение и напоминание. Я давно просил тебя не произносить мне здравиц. Ты этого не умеешь. Я терпеть не могу твоих величаний. Я не люблю, когда ты меня производишь от тонкости, от совести, от моего отца, от Пушкина, от Левитана. Тому, что безусловно, не надо родословной. И не надо мне твоей влиятельной поддержки в целях увековечивания. Как-нибудь проживу без твоего покровительства. Ты в собственной жизни, может быть, привык к преувеличениям, а я не лягушка, не надо меня раздувать в вола. Я знаю, я играю многим, но мне слаще умереть, чем разделить дым и обман, которым дышишь ты.
>
> Я часто бывал свидетелем того, как ты языком отплачивал тем, кто порывали с тобой, Ивановым, Погодиным, Капицам, прочим. Да поможет тебе Бог. Ничего не случилось. Ты кругом прав передо мной.
>
> Наоборот, я несправедлив к тебе, я не верю в тебя. И ты ничего не потеряешь, живя врозь со мной, без встреч. Я неверный товарищ. Я говорил бы и говорил впредь нежности тебе, Нейгаузу, Асмусу. А конечно, охотнее всего я бы всех вас перевешал.
>
> *Твой Борис».*

Несправедливые упреки — прием всего письма, выбранный с целью побольнее задеть адресата. Ведь нет ничего обидней, чем незаслуженный упрек, исходящий от близкого человека. Пастернак всегда восхищался ливановскими застольными «здравицами» и писал моей матери весной того года:

«Милая Женя, 3-го мая 1959 г., когда я тебе надписывал эту книжку, опять все было хорошо, незаслуженно и невероятно: ты сияла сказочной красотой, а Борис поражал нас титанической высотой своего дара и остроумия. Неужели мы будем еще долго радоваться так и встретимся все вместе еще раз среди такого счастья, хохота и блеска?»

А в письме вдруг: «Ты этого не умеешь…»

И эта зарифмованная фраза: «Тому, что безусловно, не надо родословной…» Вот уж истинно: «…так проклятая рифма толкает всегда говорить совершенно не то». Ведь, даря новое издание «Воскресения» Л. Толстого с иллюстрациями своего отца Л. Пастернака, Борис Леонидович написал: «Дорогой Жене — самое дорогое».

Способность Ливанова «отплачивать языком», выставить тех, с кем он поссорился, в уморительно-смешном свете, рассказывая о ссоре, и неспособность принести никакого реального вреда людям, его обидевшим, — черта, не раз отмеченная Пастернаком как «добрая», вдруг выворачивается в контексте письма в недостаток. Впрочем, Борис Леонидович, как и многие, побаивался ливановских острот, моментально становившихся достоянием городского фольклора. Поэт не забыл слова Гамлета об актерах: «Лучше иметь скверную надпись на гробнице, нежели дурной их отзыв при жизни». Нужно сказать, что в это время Ливанов был одержим планами постановки и ролью «Лира» в пастернаковском переводе. Общий замысел и все новые и новые детали задуманного спектакля бурно обсуждались с Пастернаком при каждой встрече. Борис Леонидович высказывал сомнения по поводу возможности вынесения на сцену МХАТа его имени в связи со сложившейся ситуацией, а Ливанов горячо утверждал, что именно сейчас необходимо добиваться воплощения этой работы, и рассказывал в лицах, где и с кем из «запретителей» имел он на эту тему беседы, споры и столкновения. Для моего отца эта намеченная работа была особенно дорога. В его представлении она явилась бы продолжением и — он верил — победным осуществлением гамлетовских трудов и надежд обоих Борисов.

Когда Пастернак пишет: «И не надо мне твоей влиятельной поддержки в делах увековечивания», — он имеет в виду усилия Ливанова для сценического воплощения пастернаковского перевода во МХАТе и, конечно, сознает, какую рану безжалостно бередит. А как сочетается: «…я давно… ушел от серого, постылого, занудливого прошлого и думал, что забыл его, а ты с головы до ног его сплошное воплощение и напоминание» — с недавним признанием Ливанову: «Спасибо тебе за годы,

проведенные вместе. Они много мне дали. От тебя всегда веяло манящим, замысловатым, драматическим духом искусства. Ты был его выразителем, его воплощением»? И со многими другими признаниями?

И, не скрывая, что «я несправедлив к тебе», тем не менее утверждает: «…а теперь он (разрыв. — *В. Л.)* есть и будет».

И нам важно сегодня понять — почему?

До этого письма, в марте 59-го, Пастернак писал отцу, просил достать книги по истории русского театра XVIII века для работы над «Спящей красавицей». В этом письме есть строчки: «Жаль — Вася уехал, а то бы я тебя не беспокоил…»

Сентябрьское письмо Пастернака пришло в наш дом в мое отсутствие. Когда я 6 ноября вернулся из долгой таежной киноэкспедиции, первое, что я услышал от мамы, было о проклятом этом письме. Мама просила, чтобы я не говорил о Пастернаке с отцом, который очень тяжело переживает оскорбление и разрыв. Смысл письма мне мама пересказала, она помнила отдельные фразы — Пастернак, оказывается, забрал письмо себе. Вот как это происходило. Пастернак появился у нас в доме ранним утром на следующий день после получения родителями его письма, умолял простить его и забыть письмо.

Но отец уперся. Сказал, что не может простить предательства их многолетней мужской дружбы, что ему отвратителен выбранный для разрыва «бабий способ писания оскорбительных писем».

— После этого не удивлюсь, если ты сейчас начнешь здесь рыдать и падать на колени.

Пастернак действительно заплакал и встал на колени. Он просил отца вернуть письмо, говоря, что, если это письмо останется у нас в доме, отцу захочется его перечитать…

— Не захочется!

— …а тогда ты меня никогда не простишь…

Вся эта сцена разыгрывалась в прихожей. Отец попросил маму вернуть Пастернаку письмо, повернулся и вышел. Маму, когда она отдавала письмо, Борис Леонидович уверял, что ему необходимо самому перечитать это письмо, что он его плохо помнит, так как писал в «невменяемом состоянии», и что письмо это он обязательно уничтожит.

— Бедный Боря, — повторяла мама с Зининой интонацией. Но я тогда страшно оскорбился за отца и встал на его сторону. Я знал, что «не надо дорожить архивом» — это только благое намерение, и минутное настроение Пастернака будет иметь самые неожиданные последствия, если письмо это попадет в чьи-нибудь нечистые руки. Так и случилось.

«22 окт. 1959 г.

Дорогие Боря и Женя, завтра я рано утром попытаюсь зайти к вам. У меня будет очень много дел в городе и, если я вас застану вставшими, это будет только на минуту, чтобы успеть сказать то, что я оставлю здесь в записке, если вы еще будете спать. Если можно перешагнуть через то письмо и забыть его, сделайте нам радость, приезжайте к Зине на именины в 3 часа в воскресенье двадцать пятого. Если это еще невозможно, переждем некоторое время и попытаемся восстановить все спустя более продолжительный промежуток. Я ни на минуту не переставал любить вас.

Боря».

Сравните у Ивинской: «Конечно, сердиться долго он (Пастернак. — *В. Л.)* ни на кого не мог, вскоре сам позвонил Ливанову и пригласил на дачу, “если, конечно, ты можешь перешагнуть через мое письмо”». Какова?

Теперь я жалею, что меня не было в Москве, когда родители получили злополучное письмо, жалею, что не смог его прочесть, пока Борис Леонидович был жив. Это сожаление я испытываю не оттого, что отец вернул письмо и им, для удовлетворения своего мелочного самолюбия, воспользовалась впоследствии Ивинская.

Мне кажется сейчас, что если бы тогда я знал это письмо, то смог бы убедить отца «перешагнуть» через случившееся. Я, конечно же, не верю, что Пастернак писал свое письмо в «невменяемом» состоянии, но уверен: Борис Леонидович не представлял, какое смятение чувств будет переживать после разрыва отношений с Борисом Ливановым.

В глубине души чувствуя правоту своих близких друзей, крайне встревоженных за его жизнь в связи с непрекращающейся травлей романа и его автора, Пастернак был обречен «жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытья» под дамокловым мечом мрачных своих предчувствий самых внезапных, непредсказуемых, может быть, трагических перемен в своей судьбе. Состояние, столь — увы! — свойственное советскому интеллигенту, осмелившемуся высказать личное мнение, противоречащее официальной, а значит, обязательной для всех точке зрения.

Ведь Борис Леонидович прекрасно понимал, что Евграф Живаго из его романа решительно отличается от «Евграфа Живаго» в действительности.

Тревога друзей, их попытки предотвратить беду, опекать поэта не только больно задевали его гордость, но — и это главное

— усугубляли глубоко припрятанный испуг. Одно дело красиво провозгласить: «Я знаю, я играю многим, но мне слаще умереть», и совсем другое — почувствовать, как горделивая словесная поза начинает обретать грубые жизненные черты. Пастернаку померещилось, что стоит только избавиться в этой ситуации от постоянно встревоженных друзей, мешающих ему жить в так замечательно выдуманном им спасительном мире, где «все сбылось», где он, Борис Пастернак, — автор гениального (никто не должен усомниться) романа, где у него, примерного христианина, какие-то совершенно особые нравственные права жить счастливым мужем сразу в двух семьях, где он — на равных с Богом, — конечно же, со временем выступит высшим судьей всех и вся, — стоит только избавиться от этих сомневающихся, и он сразу же освободится от унизительного, мучающего его страха.

Это он, Борис Пастернак, — «безусловный без родословной», а не его друг Борис Ливанов, — перечеркивая прошлое и обрывая корни, стремится укрыться от самого себя в дыму мирской славы и самообмана.

Каким страшным бессилием перед жизнью полно его яростное признание: «Я говорил бы и говорил впредь нежности тебе, Нейгаузу, Асмусу. А конечно, охотнее всего я бы всех вас перевешал», — особенно жалко это звучит в сочетании с подписью «твой Борис».

Права была Зинаида Николаевна: «Бедный Боря!» Ему, так безмерно себя любящему, никак не давалась даже поза гордого самоотречения. Ведь если бы Пастернак действительно был способен всерьез самоотречься — не потребовалось бы рвать с друзьями, писать оскорбительные письма, изобретать, как бы ударить близких побольнее.

Вместо объявленного образцового самоотречения во имя писательского долга последовало отчаянное отречение от самых преданных друзей, а потом — обвалом — и от самого романа!

Итог подвел Александр Солженицын: «Я мерил его (Пастернака. — *В. Л.)* своими целями, своими мерками — и корчился от стыда за него, как за себя: как же можно было испугаться какой-то газетной брани, как же можно было ослабеть перед угрозой высылки, и униженно просить правительство, и бормотать о своих “ошибках и заблуждениях”, “собственной вине”, вложенной в роман, — от собственных мыслей, от своего духа отрекаться — только бы не выслали? И “славное настоящее”, и гордость “за время, в которое живу”, и, конечно, “светлая вера в общее будущее”, и это не в провинциальном университете профессора секут, но — на весь мир наш нобелевский лауреат?»

Случилась самая страшная беда, которую друзья, не отринь

их Пастернак, не допустили бы, — потеря лица, бессмысленное самоунижение, равносильное самоубийству Осмысливая самоубийство В. Маяковского, Б. Пастернак писал:

«Приходя к мысли о самоубийстве, ставят крест на себе, отворачиваются от прошлого, объявляют себя банкротами, а свои воспоминания недействительными. Эти воспоминания уже не могут дотянуться до человека, спасти, поддержать его. Непрерывность внутреннего существования нарушена, личность кончилась. Может быть, в заключение убивают себя не из верности принятому решению, а из нетерпимости этой тоски, неведомо кому принадлежащей, этого страдания…»

Записанное Борисом Леонидовичем о Маяковском, как мне представляется, объясняет многое о самом Пастернаке в последние месяцы его жизни.

И в этой беде не лучшую роль сыграла Ивинская.

Ольгу Ивинскую, как говорится, «по-житейски» понять можно. Конечно, Борис Леонидович никому, даже самому себе, ни за что бы не признался в том, о чем весело-цинично распевал блестящий Александр Вертинский в те поры: «Мне не нужно женщины, мне нужна лишь тема, чтобы в сердце вспыхнувшем прозвучал напев. Я могу из падали создавать поэмы, я люблю из горничных делать королев!»

Поэтому та, которая поэтом была «создана как бы вчерне, как строчка из другого цикла», не допускалась в чистовик его жизни, пребывала на вторых ролях, где достаточно было время от времени «плащ в ширину под собой расстилать» и «сбрасывать платье, как роща сбрасывает листья».

«…Я упрямо твердила:

— Нет, это я, именно я. Я живая женщина, а не выдумка твоя!» — такое признание вырывается у Ивинской.

Но что бы она ни твердила, с годами для нее в этих отношениях ничего не менялось.

Характерен рассказ Ивинской о том, что, когда она вышла из тюрьмы, Пастернак послал к ней ее подругу с поручением передать, что их любовная связь кончена. Как выяснилось впоследствии, поэт опасался, что любовница «постарела» в заключении, но, воочию убедившись, что только «слегка похудела», возобновил роман.

«Простимся, бездне унижений бросающая вызов женщина, я — поле твоего сраженья!»

А Ивинская не хочет быть «полем сраженья» и откровенно сетует, что Пастернак не сделал ее своей женой и поэтому не уберег от «неприятностей», последовавших за попыткой — «чтобы обеспечить свое существование» — контрабандного присвоения

денег, по праву принадлежащих семье умершего поэта.

Итак, сознавая ложное и жалкое свое положение рядом с Пастернаком, Ивинская поначалу надеялась вызвать у близких друзей Пастернака — прежде всего Ливанова, Нейгауза и Асмуса — если не расположение к себе, то хотя бы сочувствие. Увы, безрезультатно. Друзья оставались верны не только Пастернаку, но и Зинаиде Николаевне.

Любовную связь Бориса Леонидовича в этом дружеском кругу не только не романтизировали, но справедливо считали очередной прихотью стареющего поэта.

Насколько для Ивинской было желаемо, чтобы о ней хотя бы говорили в этом кругу, свидетельствует строчка из письма к ней Пастернака: «О тебе несколько слов вскользь и тайком, с симпатией к тебе сказала Ливанова…»

В контексте коротенького письма это сообщение выглядит как событие, наравне с отъездом Пастернака в Грузию!

…И настало время, когда Борис Леонидович стал жаловаться Ивинской на своих друзей, не одобряющих так прекрасно выдуманный им мир его безусловной правоты во всем. Зная, как упрямо Пастернак цепляется за свои иллюзии, Ивинская поняла, что настал ее час — наконец-то она сможет изменить отведенную ей при Пастернаке роль, причем без особых усилий. Стоит лишь начать говорить Пастернаку именно то, что он желал бы услышать, но так и не услышал от своих близких друзей. И действительно, Пастернак очень скоро стал обнаруживать в своей «привязанности» высокий светлый ум и здравые суждения о гениальности многострадального романа «Доктор Живаго» и безусловной правоте его автора во всем, что бы он ни предпринимал или ни задумывал предпринять.

Не кто иной, как Ивинская утвердила Пастернака в усугубившей его личную трагедию мысли о том, что близкие друзья только мешают ему чувствовать себя счастливым. А особенно Борис Ливанов, решительно и давно не пожелавший ни под каким видом даже обсуждать с другом присутствие в его жизни ее, «привязанности». Ливанова Ивинская, естественно, возненавидела, так как боялась его прямого влияния на Пастернака. Именно этой нескрываемой ливановской осадой пастернаковского «воздушного замка» воспользовалась, как могла, Ивинская.

Не могу утверждать, но, скорее всего, ни Г. Нейгауз, ни Асмус не получали оскорбительных писем. Они были просто занесены в список предназначенных к «повешению», как близкие друзья. Что касается Нейгауза, то такое «послабление» было проявлено к нему, вероятно, благодаря случаю, описанному Ивинской, когда

Генрих Густавович однажды посетил ситцевое гнездышко, свитое Ивинской для Пастернака прямо напротив знаменитого переделкинского «шалмана», и был с хозяйкой очень мил.

И неудивительно. Переделкинские мужчины, независимо от возраста и положения, и их гости — а Нейгауз подолгу гостил в Переделкино — нет-нет да и наведывались в голубой «шалман», и Нейгауз отнюдь не был исключением. Подвыпив, Генрих Густавович становился необыкновенно покладист и общителен. Застав его в таком настроении, ничего не стоило завлечь великого музыканта в любую обещавшую приятное времяпрепровождение компанию. Иногда его даже приходилось разыскивать. При этом не надо забывать, что Пастернак «увел» от Нейгауза Зинаиду Николаевну, мать двоих его сыновей, и скандальная связь поэта с Ивинской воспринималась Генрихом Густавовичем по-своему.

Уж чем «тишайший Асмус» заслужил пощаду от Ивинской, не знаю. Очевидно, тем, что оставался «тишайшим» и в отношении к ней.

Торжествуя такую желанную, еще недавно казавшуюся ей невозможной «победу» над близкими друзьями Пастернака и самонадеянно считая, что она сама вместе с дочерью Ирочкой и озабоченными книжным бизнесом иностранцами, столь милыми ее сердцу, вполне заменят поэту многолетнее благотворное дружеское и творческое общение с замечательными актером, музыкантом и философом, Ивинская заключает свои вымыслы о друзьях Пастернака выдающимся по пошлости резюме:

«Когда вспоминаю последний год его (Пастернака. — *В. Л.)* жизни, мне кажется, что ребенок (очевидно, Ирочка. — *В. Л.)* или какой-нибудь Кузьмич (до этого описанный Ивинской как тупоумный алкоголик. — *В. Л.)* был Боре роднее маститых посетителей его большой дачи».

Бедный Боря!

В 1988 году, когда о Борисе Пастернаке уже стали говорить и писать все кому не лень, Ивинская попросила одну мою знакомую соединить ее со мной по телефону. После пустой болтовни эта знакомая загадочно объявила, что со мной хочет побеседовать «одна дама».

— Меня зовут Ольга Всеволодовна Ивинская, — услышал я в трубке незнакомый голос. Судя по интонации, эти имя, отчество и фамилию я должен был воспринять как подарок.

— Я вас слушаю.

После длительной паузы я получил еще один подарок:

— Я к вам очень хорошо отношусь.

Пришлось ответить, что мне совершенно безразлично, как ко

мне относится звонившая, и посоветовать ей забыть номер моего телефона. Не думаю, что Ивинскую на старости лет совесть «заела». Очевидно, прослышала, что я не собираюсь не замечать клеветы на моего отца, лучшего друга Пастернака.

Ну что ж, буду надеяться, что Ивинская и иже с ней растревожились не напрасно.

Отход Пастернака от круга близких друзей стал особенно заметен после отказа от Нобелевской премии. Я не знаю точно реакции Нейгауза и Асмуса на этот поступок Пастернака, на его дальнейшие обращения к Хрущеву и в газету «Правда». Но думаю, что их реакция была сходна с ливановской. А Борис Ливанов отнесся к этому резко отрицательно. И, никогда не скрывая своих чувств, однажды назвал покаянные письма Пастернака «окаянными».

Может быть, он знал, может быть, догадывался, что «поступки» Пастернака определяет теперь Ивинская, позже в путаных оправданиях простодушно признавшаяся на страницах своей книжки, что составляла вместе с хрущевскими чиновниками письма от имени нобелевского лауреата, стараясь имитировать его стиль, а Борис Леонидович только поправлял стилистические погрешности и переписывал, подписывал. Но хрущевские «ребята» крепко держали в руках самозваную «Лару» и действовали через нее. Лишившись литературных заработков, она еще могла бы безбедно существовать на средства Пастернака, хотя его телеграмма: «Дайте работу Ивинской, я отказался от премии», — говорит о том, что его мучило чувство вины перед стареющей любовницей, которую он никогда не хотел бы видеть своей официальной женой.

Но когда Пастернаку пригрозили высылкой, Ивинскую охватила паника. Грозивший отъезд Пастернака за границу превращал ее в ничто. Этого она не могла допустить, пусть ценой сотрудничества с гонителями поэта.

«В лета, как ваши, живут не бурями, а головой», — Ивинская точно последовала гамлетовскому совету, а голова «без сердечных бурь» рассудила, что лучше униженный Пастернак здесь, чем опальный нобелевский лауреат где-то там. Вряд ли Ивинская понимала, что приготовленное с ее помощью самоунижение для поэта смертельно, — для этого ее личность была слишком мелка, слишком цинична, а ее самомнение слишком раздуто самим Пастернаком.[28]

Незваный сентябрьский приезд Ливанова к другу был вызван желанием напомнить поэту, погибающему в самоунижении, о его истоках, о преемственности его творчества. Но Пастернак уже разрушил и продолжал рушить все живые связи. Он, еще не

сознавая этого, умирал.

И все-таки до конца своих дней (а их уже оставалось немного) Пастернак пытался вернуть оскорбленного им Бориса Ливанова, долгими телефонными беседами с моей мамой и письмами старался заполнить зияющий в его мироощущении провал после разрыва с «лучшим» и «самым близким»[29] другом. Может быть, предчувствуя свою кончину, он хотел сказать последнее «прости».

> «6 янв. 1960 г.
>
> С днем ангела тебя, дорогая Женя![30]
>
> Помнишь, как следовали из года в год вечера твоих зимних именин, озаренных звездочками елочных огоньков, свечками сочельника?
>
> Благодаря им на весь год ваш дом становился и оставался зимней и праздничной городской достопримечательностью.
>
> Эти вечера в продолжение многих лет были отдельными ступенями лестницы, по которой все мы постепенно подымались ко все более упрощающемуся пониманию жизни, ко все более прямому и смелому распоряжению ею, к тому, что всегда так требуется и чего так недостает в молодости. Еще свежа и так бодра была твоя мама, и Чагины, и Ивановы сидели вокруг стола, когда я за этим столом задумал и тут же начал сочинять про себя “Рождественскую звезду”».

И еще в этом же письме:

«Я целую Борю впрок, из недалекого будущего, когда все объяснится не губами и словами, а общими переменами, которые к тому времени совершатся…»

Родители больше не ездили по воскресеньям к Пастернакам в Переделкино. В середине мая я услышал в телефонной трубке голос Зинаиды Николаевны. Она попросила позвать маму, сказала, что болезнь Бориса Леонидовича, очевидно, смертельна, что Пастернак зовет Ливановых приехать к нему.

Мы поехали в тот же день. Зинаида Николаевна, увидев нас в окно, вышла навстречу:

— Борис, он просит тебя одного. Иди.

Примерно через полчаса отец с Зинаидой Николаевной вышли к нам из дома.

Помню, когда прощались, Зинаида Николаевна, обычно очень сдержанная, подняв руки, обхватила отца за шею и спрятала лицо у него на груди. Так они простояли некоторое время молча.

«Моим большим и любимым друзьям Ливановым с пожеланием чаще приезжать ко мне. — З. Пастернак», — напишет

она, даря сборник «Стихотворения и поэмы», изданный через пять лет после кончины Бориса Леонидовича.

А то последнее письмо Пастернак сопроводил литографией работы Л. О. Пастернака «Лев Толстой за рабочим столом». Внизу литографского листа:

> «Дорогим друзьям Борису Николаевичу и Евгении Казимировне Ливановым с благодарностью за дружно разделенный долгий нешуточный путь, такой счастливый, несмотря на иногда разыгрывающиеся бури и загадки, и не полностью разрешенные.
>
> *Б. Пастернак, 6 января 1960 г.»*

Когда я спросил отца, о чем был их последний разговор с Борисом Леонидовичем, он мне ответил:

— Мы сказали друг другу: «До свидания».

Эпилог

Ты — вечности заложник
У времени в плену.

Б. Пастернак. Ночь

Евгения Ливанова вспоминала:

«Борис Николаевич привез мне после гастролей из Таллина кожаный альбом, зеленый, с тисненым рисунком. Подарил и сказал:

— Пусть это будет твой альбом для друзей, когда они у нас бывают дома. Если кто захочет — напишет.

Я попросила Пастернака начать его».

И вот что Борис Леонидович написал в альбоме:

«Об этом альбоме

Какое обилие чистых неисписанных страниц, бесподобно переплетенных! Их хватило бы на целую Божественную комедию. Вот и надо наконец начать ее писать, трудами многих рук, сборно, явочно.

Кому, однако, давать эти листы для любезного заполнения? Только, конечно, не носителям громких имен. Этого сейчас слишком много. Мы видели, как они рождались, как их получали, все это было на наших глазах. Знаменитость — самое заурядное современное явление.

Но пусть ставят тут свои подписи имена негромкие, люди, не способные спугнуть своей пошлостью чистоты Вселенной, люди труда, ранних вставаний, люди, стоящие на короткой ноге с жизнью, будущим и природой, люди ясной и определенной судьбы, люди, — каждый со своей драгоценной, лишь после смерти открывающейся тайной, люди, почти сейчас не существующие, люди свободные.

Пусть альбом начнет собой подбор новой исторической породы.

На освящение ливановской дачи Новый дом, как обновленное тело. Новые глаза, новые руки, новые уши.

Святится, святится новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия. Смотрите же на мир новыми, выздоровевшими окнами, полнее и вольнее дышите широкой грудью двери. Есть чудные, без кощунства, не для смеха, слова о сошествии Св. духа на апостолов в Пятидесятницу, когда присутствующие, не понимавшие того, что с ними делалось, “изменение язык пианства быть мняху”, а на самом деле “собранным учеником Христовым бысть шум, якоже носиму дыханию бурну, и исполни дом, идете беху седяще, и вси начата глаголати странными глаголы” и т. д. и т. д. Это в высшем смысле как нарочно для Бориса и наших, разной степени людности, встреч в честь и во имя твое, Женичка.

С новоселием, в час добрый.

Б. Пастернак 1955 г.»

Шел 1957 год.

Помню, как по возвращении из Переделкино от Пастернаков мама почему-то шепотом сообщила мне:

— Борис Леонидович сказал, что этот роман («Доктор Живаго». — *В. Л.)* дороже ему его физической жизни… какой ужас!..

Лицо у нее было перепуганное, страдающее.

Дремучее невежество Хрущева в вопросах искусства было уже хорошо известно. Вокруг освободителя народа от «культа личности» уже роилась компания всяческих проходимцев, старающихся нагреть руки на новой конъюнктуре. Кем-то из этой компании роман Пастернака был представлен Хрущеву как «нож в спину» его гуманистической политике. При болезненном самолюбии бывшего соратника Сталина этого оказалось вполне достаточно. Хрущев — что для него естественно — романа сам не читал. Да и зачем? «Верные люди» вовремя дали «сигнал», и — размахнись, рука, раззудись, плечо! Любителя народных пословиц и поговорок теперь могла остановить только смерть обидчика. Все это понимали близкие друзья Бориса Леонидовича, но их усилия отвести от Пастернака удар пропали даром.

Не могу не сказать еще об одном обстоятельстве, прямо связанном с характером Бориса Леонидовича.

Отказ от Нобелевской премии в смысле психологическом, глубоко личном — это, в сущности, та же история со злополучным архитектором. Став лауреатом Нобелевской премии, Борис Леонидович к своим восхвалителям вне родины уже не чувствовал живого интереса. Его душевные силы сосредоточились на желании скорейшего признания на его

родине. Он возжаждал чудесного обращения в свою веру прежде всего тех, кого — и он это знал — можно было заставить «обольститься» Пастернаком только по постановлению партии и правительства. Но чем страшнее была травля, тем больше его душа жаждала чуда признания от никогда не уважаемых и не ценимых людей.

Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.

Так неужели, в конце концов, и эти «межеумки» не заплачут? Без этой «победы» он не мог чувствовать себя счастливым.

В одно из воскресений снежной зимы 58-го года мы, Ливановы, приехали в Переделкино. Я готовился к первой своей роли в кино и отращивал усы.

Мы шли по дорожке между высокими сугробами. Светило зимнее, яркое и холодное солнце.

Борис Леонидович встречал нас, стоя на обледенелом крыльце. На нем была старая меховая безрукавка, у ног крутились две лохматые собаки.

— Вася! Боже мой… это теперь не Давид Копперфильд, а какой-то… князь Трубецкой!

В этот день Пастернак читал нам «Вакханалию». В середине чтения Зинаида Николаевна резко поднялась и вышла из комнаты.

— Ну Зи-на! — загудел ей вслед Борис Леонидович. — Это же не имеет отношения… это же стихи!

Больше мне не суждено было увидеть Пастернака.

1990

Москва — Николина Гора

notes

Примечания

1

Г. К. Честертон (1874–1936) — английский писатель.

2

Здесь и далее воспоминания Е. К. Ливановой цитируются по книге: Б. Ливанов. М: Изд-во ВТО, 1984.

Пастернак Б. Поэмы. М.: Советский писатель, 1933.

4

Борис — Ливанов; *Ал. Ник.* — Толстой; *Ал. Тихонов* — критик (не путать с поэтом Ник. Тихоновым).

5

Письма Пастернака даются в орфографии и манере автора. — *В. Л.*

6

Ольга Михайловна Фрейденберг — двоюродная сестра Б. Пастернака, профессор древних языков.

7

В Лаврушинском переулке, где жил Пастернак.

Храпченко М. Б. — в 1939–1948 гг. председатель Комитета по делам искусств при Совете министров СССР.

9

Сахновский В. Г. — режиссер МХАТа.

10

Вит. Як. — Виленкин, помощник Немировича-Данченко по литературной части. Крестик, поставленный Пастернаком около имени-отчества Виленкина, обозначает знак особой осторожности. Немировича-Данченко окружали всякого рода помощники. Некоторые из них фиксировали каждый шаг Немировича-Данченко, записывали каждое слово, так сказать, «для истории». Мхатовские остряки, очевидно, не без оснований злословили, что этими записями постоянно интересуются не только в театральной среде.

11

Ольга Сергеевна Бокшанская — секретарь Немировича-Данченко, сестра жены М. Булгакова Елены Сергеевны.

12

Литература и искусство. 1943. 30 июня.

13

Я не стал уточнять фамилию этого человека. Все эти чиновники были на одно лицо — их персонификация не важна. — *В. Л.*

14

В феврале 1990 г. газета «Вечерняя Москва» опубликовала фотографию с похорон Б. Пастернака. Б. Ливанов — среди несущих гроб с телом поэта.

15

В те годы московские остряки дали Фурцевой прозвище «Никитские ворота».

«Огонек». 1990. № 8.

17

В этом плаще и шляпе он нарисован моим отцом в 1943 году. — *В. Л.*

18

Н. Н. Вильмонт — литературовед, переводчик, друг Б. Пастернака.

19

Женя Пастернак — первая жена поэта. Зинаида Николаевна в то время была женой Г. Нейгауза, друга поэта.

Особенно это заметно в переписке с О. Фрейденберг. — *В. Л.*

21

Вильмонт Ник. О Борисе Пастернаке: Воспоминания и мысли. М.: Советский писатель, 1989.

22

Стихотворение «Пик» Бараташвили в переводе Б. Пастернака.

23

Пастернак Б. Люди и положения // Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1991. Т. 4. С. 397.

Там же. С. 398.

25

В. Маяковский. «Флейта-позвоночник».

26

Моей матери уже не было на свете, когда книга «Борис Ливанов» наконец находилась в гранках. Звонок из редакции: меня просят срочно приехать. Оказывается, из Отдела пропаганды ЦК КПСС обратились в редакцию, сказали, что необходимо снять эпизод разговора Б. Ливанова со Сталиным. Я стал звонить в ЦК по оставленному в редакции номеру. На мой вопрос, почему вдруг возникла такая необходимость, мне очень вежливо ответили, что для того, чтобы включать такой эпизод, его необходимо проверить и уточнить… в Институте марксизма-ленинизма (!). Ответ этот, прикрыв рукой мембрану телефона, я тут же передал редакторам. На меня замахали руками:

— Это еще на десять лет! Во имя выхода книги — соглашайтесь!

Эпизод со Сталиным был вынут из гранок с такой поспешностью, что забыли убрать имя Сталина из списка лиц, упоминаемых в книге. Так и значится Сталин на 71-й странице. Чиновников брежневского партаппарата невозможно заподозрить в инициативе по исключению из книги этого эпизода. Теперь я догадываюсь, кому мешала эта правдивая информация о разговоре Ливанова со Сталиным по поводу «Гамлета». И кто из «вхожих наверх» добивался ее исключения. — *В. Л.*

27

Очевидно, имеется в виду вино, а не вина. — *В. Л.*

28

В своей книжке О. Ивинская вперемежку с пастернаковскими приводит стихи собственного сочинения, оставляющие впечатление восковой куклы рядом с живым человеком.

29

Эпитеты, данные Б. Ливанову Пастернаком в переписке с О. Фрейденберг.

30

6 января — именины Евгении.